

МИХ СЛОНИМСКИЙ

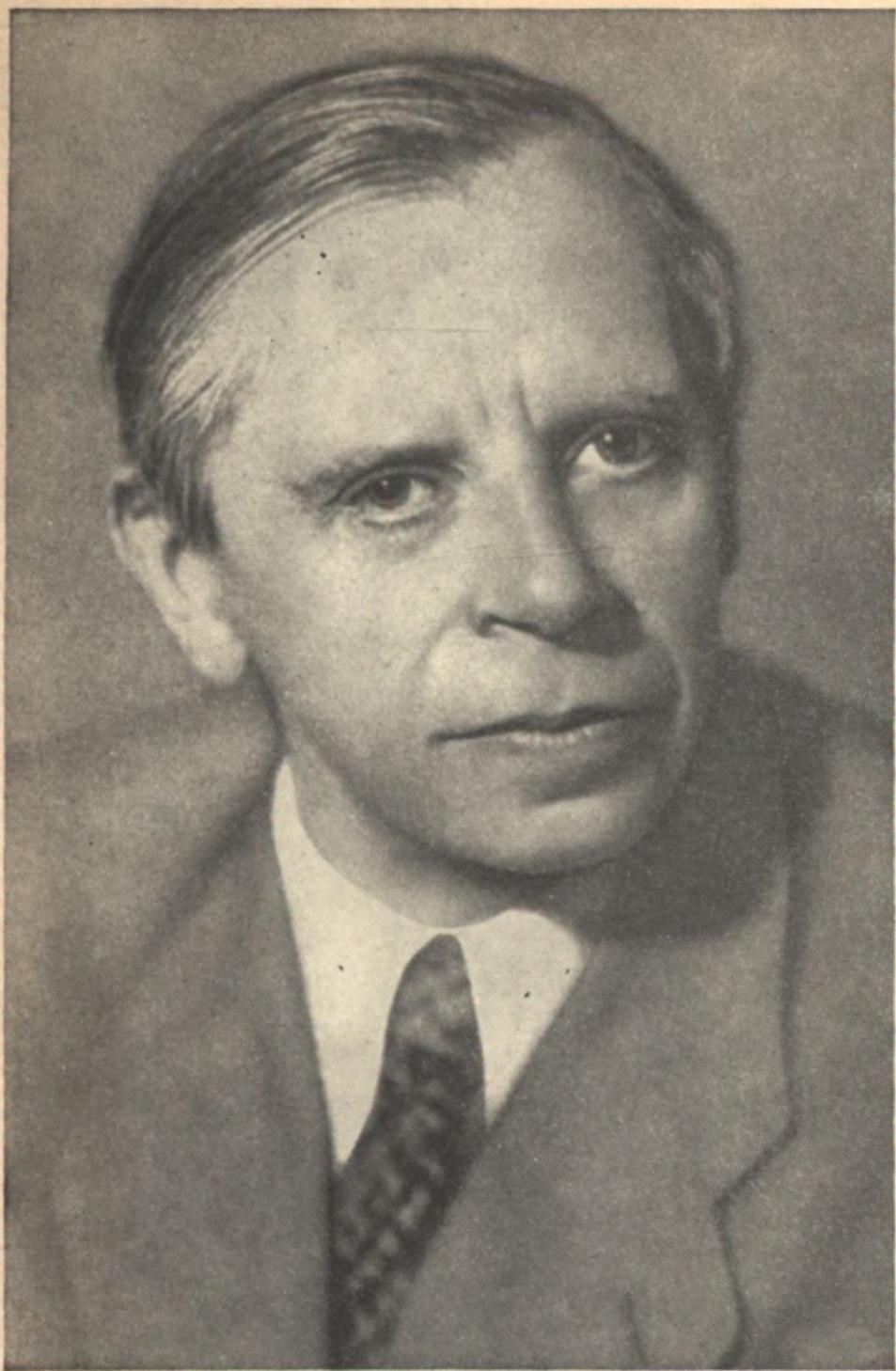
КНИГА  
О СПОМИНАНИИ

М. ГОРЬКИЙ • А. ГРИН • О. ФОРШ • В. ИВАНОВ • Б. ПИЛЬНЯК • Н. НИКИТИН  
МИХ. ЗОЩЕНКО • ЕВГ. ШВАРЦ • Д. ВЫГОДСКИЙ • П. ПАВЛЕНКО • Л. КАНТОРОВИЧ

МИХ СЛОНИМСКИЙ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ





Михаил Леонидович Слонимский родился в 1897 году. Он принадлежит к старшему поколению советских писателей, на глазах которых советская литература возникала и развивалась. Автор нескольких десятков книг, в том числе

МИХ-  
СЛОНИМСКИЙ

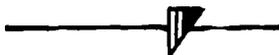
КНИГА **В**ОСПО-  
МИНАНИЙ



СОВЕТСКИЙ  
ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА  
ЛЕНИНГРАД  
1966

*Посвящаю  
моей жене*

# ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ



**Т**а часть петербургской интеллигенции, среди которой я рос в дореволюционные годы, была подвержена разнообразным влияниям и тревогам. Жила эта интеллигенция небогато, зыбко, искала твердой почвы, устоев.

В кругу друзей отца были поэт и философ Владимир Соловьев, историк литературы А. Н. Пыпин, историк М. М. Стасюлевич и другие ученые и литераторы. Мне едва исполнилось три года, когда умер Соловьев, но я помню его серебристую бороду и детский залиvistый смех. В семье ча-

сто цитировались его стихи, а в особенности стихотворные пародии на символистов. О его философии почти не говорилось. Она была чужда отцу.

Мне было семь лет, когда отец, раскрыв утром газету, пошатнулся, схватившись за сердце:

— Пыпин умер!

М. М. Стасюлевича я знал больше, чем других старых друзей семьи, — он был моим крестным отцом. Четыре раза в год — в дни рождения и именин, на пасху и на рождество — рано утром появлялся серьезный коренастый посыльный с подарком от Стасюлевича. Затем меня вели к крестному, жившему, как и мы, на Васильевском острове. Маленький, ссохшийся старичок с маленькой седенькой своей женой показывали мне всегда одних и тех же заводных птиц в искусственном лесу под стеклянным колпаком. Пестро раскрашенные птицы летали и пели, они соединились в моей памяти с цветными стеклами в воротах типографии Стасюлевича. Стасюлевич был редактором-издателем журнала «Вестник Европы», отец — членом редакции этого журнала.

Стасюлевич умер в 1911 году. Умирая, он вдруг вымолвил:

— Чаю...

Ему тотчас же принесли стакан чаю. Но он кончил фразу:

— ... воскресения мертвых.

Пауза, которую он сделал после слова «чаю», была столь длительной, что казалась преднамеренной, и поэтому похоже было, что Стасюлевич под конец жизни пошутил. Вряд ли это было так. Но так думал отец. Религиозность в нашей семье, как и во многих интеллигентских семьях, отсутствовала, к религии относились как к разделу истории культуры.

В кругу друзей отца господствовали представители так называемой культурно-исторической школы, столпами кото-

рой были А. Н. Пыпин и мой дядя, профессор С. А. Венгеров. Декадентство осуждалось категорически.

Обучался я в четвертой классической Ларинской гимназии. Время было скверное — реакция после Пятого года. Группа гимназистов образовала «кружок самоубийц». Трое из них сговорились покончить с собой в один и тот же день и час. Один выполнил это свое намерение, другой сознался перед родителями и раскаялся, а третьего мне привелось самолично сорвать с петли в ванной, где он заперся. Страшно озлившись, я ударил его по лицу. Мне было тогда тринадцать лет, ему — шестнадцать. В прошлом году, на старости лет, он поблагодарил меня — не за пощечину, которой он тогда, наверное, и не заметил, а за то, что я не дал ему повеситься. Он объяснил:

— Мне хотелось обратить на себя внимание.

Ужас, пережитый при виде висящего под потолком поклонника модных в ту пору декадентских настроений, навсегда оттолкнул меня от круга, где эти настроения зарождались.

Так называемые точные науки пользовались в семье нашей почетом. Мой дед был крупным ученым, изобретателем вычислительной машины, за создание которой Санктпетербургская Академия наук наградила его в 1845 году Демидовской премией. Он трудился и по усовершенствованию телеграфа (известно его «Описание способа передачи двух различных депеш и в то же самое время приема двух других депеш по одному и тому же проводнику»). Дед мой отличался чрезвычайной непрактичностью, и его авторство то и дело оспаривалось иностранными инженерами. Даже, казалось бы, бесспорное первенство в создании вычислительной машины подвергалось сомнению. Математик, астроном, инженер, полиглот, знаток чуть ли не двадцати иностранных

языков, автор ряда научных трудов и популярных просветительных статей, дед мой по тем временам не мог применить в жизни многое из сделанного им. В старости он сдружился с украинскими гончарами и совершенствовал гончарное искусство.

Музыка была представлена в нашей семье моей тетей, профессором Петербургской консерватории пианисткой И. А. Венгеровой, и братьями.

Сильное влияние оказывал на меня старший брат Владимир. Он с ранних лет отличался блестящими математическими и музыкальными способностями, отлично играл в шахматы. У него был трезвый, реалистический, язвительный ум, он яростно обрушивался на модные декадентские и мистические настроения тех лет, на «кружки самоубийц», «озарения» и «бездны», жестоко издевался и над тщеславием, эгоцентризмом некоторых слоев интеллигенции. Не на уроках в гимназии, а у брата я обучался уважению к точным наукам — математике, физике, инженерному делу. По окончании гимназии и консерватории брат прошел первым по конкурсу сразу в три института, в том числе в самый трудный — Технологический. Но он был уже тяжело болен туберкулезом, уехал лечиться в Давос, в начале войны с огромными усилиями привезен был матерью обратно в Петербург и здесь умер уже тогда, когда я был на фронте.

Был я жителем тогдашних окраин — Васильевского острова и Петроградской стороны, заводил дружбы и на Выborgской стороне, в центре бывал редко. Не пропускал ни одного авиационного состязания на Комендантском аэродроме в Коломягах. Навсегда врезалось в память, как на «празднике русского воздухоплавания» погиб капитан Мациевич — он вывалился из аэроплана, и черная фигурка его, кувырка-

ясь, полетела вниз. Мацевич был инженер, изобретатель. Летал он на стареньком аэроплане Фармана.

Читал я много и беспорядочно. Увлекался историей. Брал с отцовских полок томы Соловьева и Карамзина, лекции Ключевского. Любил исторические романы. Один год преподавал в Ларинской гимназии историю Виктор Николаевич Сорока (Викниксор из «Республики Шкид»). Он оригинально, совсем не по учебнику, рассказывал на уроках историю Западной Европы, рекомендовал книги для чтения. Особенно увлекся я французской революцией. «Жирондисты» Ламартина — одно из сильных впечатлений юности.

В те времена жизнь столкнула меня только с одним из моих будущих товарищей-сверстников — с Михаилом Зоценко. Он год или два обучался в одном классе с моим братом (он был на два года старше меня) и даже носил ему уроки, когда тот болел. В 1919 году Зоценко при нашей встрече напомнил мне об этом. Оказались у нас и другие совпадения в биографиях. Оба мы были петербуржцами, из интеллигентских семей, оба ушли в 1915 году добровольцами на войну и были примерно на одних участках фронта.

Моим университетом стала солдатчина в царской армии. Стремясь вырваться из привычного петербургского круга в широкий мир и, конечно, под воздействием поднявшейся шовинистической волны, я подал заявление об ускоренном выпуске; в январе 1915 года, семнадцати лет от роду, сдал выпускные экзамены и ушел на фронт. Был сильно контужен, легко ранен. Прошел с разбитой дивизией всю Польшу от реки Нарев, выбираясь из окружения.

Разговоры о революции я слушал чаще всего в доме Венгерова. О революции говорилось как о бесспорном и притом ближайшем будущем. Споры были горячие. Но у иных гос-

тей слово «революция» звучало как-то по-домашнему, словно ее уже заранее распланировали и освоили, как новую квартиру, в которую предстоит переехать.

Мой уход на фронт оказался своеобразным «хождением в народ», во всяком случае — в самую жестокую реальность. Фронт истреблял иллюзии, показывал обнаженную правду. Вставал призрак чего-то неведомого, совсем непохожего на ручную, удобную, заранее разлинованную и расчерченную революцию.

Отступление из Польши правильной было бы назвать бегством разгромленной армии.

На станции Лида, к которой мы пришли осенью 1915 года, в суете и панике эвакуирующегося железнодорожного узла, я забрел в какую-то сторожку. Здесь из уст неизвестного солдата, возможно — рабочего в солдатской шинели, я впервые услышал слова Ленина о превращении войны империалистической в войну гражданскую.

Фронт с его смертями и бедствиями был, конечно, отличной жизненной школой, он мог научить не только юнца. Но привычная книжная история, в формулах и рамках которой я жил, не могла дать добрый совет. Эта история зашла в тупик. Все становилось бессмысленным. Казалось, что Россия осуждена на страшную и позорную гибель, а сил спасти положение и соответствующих умов нету. Слова Ленина дышали живой историей, живой жизнью, чувствовалось, что выросли они из обнаженной правды событий, в которых я участвовал.

В шестнадцатом году, когда мы стояли в Полесье, сказались последствия контузии в грудь, я был отпущен в Петроград и там, по окончании отпуска, назначен был в первый пехотный запасный полк писарем в канцелярию. Нестроевая писарская должность вела к чрезмерным унижениям, и в

конец концов я добился перевода в строй, в шестой саперный батальон.

Здесь, в питерском гарнизоне, я познал положение солдата в тылу. Мы, по существу, были лишены самых элементарных гражданских и человеческих прав. Наше положение мало чем отличалось от положения арестантов. В шестом саперном батальоне я был назначен в роту кандидатов в школу прапорщиков и должен был к весне 1917 года надеть офицерские погоны. Но офицером я не стал.

13 февраля были запрещены увольнительные записки, и мы были заперты в казармах, как в тюрьме. Был организован «дежурный взвод» — для подавления «беспорядков», и никто не знал, кого назначат туда. Учение проводилось в помещении роты. Мы были отрезаны от города, от людей, от жизни.

Казармы шестого саперного батальона помещались на Кировской улице, рядом с Волянским полком, зачинщиком восстания в питерском гарнизоне, поэтому мы одними из первых вырвались на улицы утром 27 февраля 1917 года (Россия жила еще по старому стилю). Сопrotивление группы офицеров было сломлено сразу, некоторые офицеры были убиты, в том числе и командир батальона полковник Геринг.

Заполнив улицу от стены к стене, солдаты двигались к Литейному проспекту, останавливая трамваи, посылая патрули в переулки и во дворы, обезоруживая встречающихся офицеров. Шедший рядом со мной молоденький паренек из Волянского полка воскликнул, взмахнув руками, как крыльями:

— Мы идем вперед, в неизвестное!..

Выговорил он эти слова восторженно, с пафосом и с великой надеждой.

Вчера еще все было заранее предрезано по часам: подъем, каша с салом, фельдфебельское: «А ну вылетай на занятие-у-у!..» Теперь все вчерашнее отпало, выстрелами волынцев и криками «Саперы, выходи!» началось нечто новое и небывалое.

Мы шли вперед, в неизвестное. Вот сдалась уже школа саперных прапорщиков, в которой я должен был получить первый офицерский чин. Выстрелил жандарм у ворот управления, но тотчас же винтовка была выхвачена из его рук, и он, бледный, в кругу разъяренных солдат, умолял:

— Не убивайте! Я же не знал, что у вас революция!..

Кирочная улица кипела, бушевала, высокий подпрапорщик на офицерской лошади носился взад и вперед, наводя порядок. Среди солдат появились люди в черных пальто, рабочие с Выборгской стороны. Группы солдат устремились в другие полки, уверенные, что весь гарнизон присоединится к восстанию. Организация шла как-то снизу, возникала естественно и закономерно, продиктованная всем понятной необходимостью. Но ее уже перехватывали — Таврический дворец, где заседала Дума, давал свое направление событиям.

Зыбкость Февральской революции ощущалась многими. Помню, как Венгеров сказал:

— Это не то... Вот приехал Ленин... — Он помолчал. — Теперь будет другая революция.

Отец мой вымолвил однажды:

— Мы стоим на пороге неведомого.

Он почти буквально повторил слова паренька-волынца. Слова прозвучали торжественно, а торжественный стиль был решительно чужд отцу. Но веяние живой, набирающей силы подлинной революции, подлинной живой истории действовало на людей, меняло их стиль, их речь, их повадки.

Позже, когда я начал работать в Военно-морском кабинете печати, мне дали письмо с фронта, посланное в 1916 году какой-то барыне, объявившей в печати о своих посылках солдатам. Привожу это письмо как оно есть, со всеми ошибками, без единого знака препинания, только немного сокращаю его и заменяю непечатные слова:

«Письмо от Солдат Русских Войнов в том что мы читали в журнале писма ваши что вы не забываети нас войнов и наших жон и сирот Следующие вы пишете нам писма что будто Вы открыли для нас какую-то защиту будто вы посылаети нам подарки именно кисеть стабаком конфеты папиросы и разной таковины Вы нас уговариваете как малых детей вы думаете что мы все безумны Мы все взрослые и здравы рассудком и в нас во всех семьи мы им давали порядок обували одевали кормили также как и вы высоко разумные За нашей спиной вам очень хорошо рассуждать когда нас здесь миллионы погибають беззащитных жертв а вы сидите и гуляете и придумываете для нас разного рода уловки ставите сети для нас вы пишете нам что жоны наши соблюдены дети наши накормлены Испытайте на себя можно ли пропитаться человеку за девять копеек в день За эти ваши жертвы и курицы не прокормишь Все ваши жертвы и подарки офицеры попроели а нам несчастным воинам только писма одни шлютъ Вы раненых встречаете как собак играете Для своих интересов вы спрашиваете готовите новость в театр сад и трактирь Чужой кровью вы интересуетесь смиеетесь из нас Напрасно вы нас хвалите все машенства ваша видно все вы добры на чужое Нас забрали всех на войну а семьи наши беззащитны голодны день и ночь сидят их терзають и пощады не дают лишь оставили грязный угол где лихорадку бирегуть Прольем мы чисто светлую слезу и впадет она на вашу проклятую кожу и пожжет безжалосно

И вскоре времени вы увидите терзание тела своего Ни думайте чтобы мы забыли невыносимую тягость свою и бесстыдные ваши насмешки Ох вашу мать!..»

Так начал говорить фронт еще до революции. Письмо это заключало в себе еще далеко не все, что я слышал в армии среди солдат. Но накал был тот самый. Он гигантски нарастал после Февральской революции.

Оправившись от вспышки туберкулеза (болезнь уложила меня на некоторое время в военный госпиталь), я начал писать во фронтовых газетах, получил возможность бывать в любой воинской части.

В ночь взятия Зимнего я был у казарм Павловского полка, на Марсовом поле, и помню, как привели туда воительниц женского батальона. Очень по-доброму держали себя с ними солдаты, и женщины присмирели.

Вспоминаю рассказ одного из рядовых участников штурма Зимнего, слышанный, может быть, в ту же ночь, а возможно, через день-два после нее. В этом рассказе были и ветер, и небо, и просторы, и толпы, и гирлянды фонарей посреди Дворцовой площади, у гранита Александровской колонны, и сверкающий окнами всех своих этажей Зимний дворец как центр всего, как крепость, которой надо во что бы то ни стало овладеть, как последняя твердыня всего, что мешало жить, дышать, радоваться. Рассказчик, молодой питерский парень, описывал все это так, словно впервые вступил на эту с детства знакомую площадь, все в его рассказе было новым, впервые увиденным, а огромное небо над городом он, кажется, и впрямь впервые заметил. Это была еще устная литература.

Затем пришла поэзия. Зимний ветер восемнадцатого года трепал плохо приклеенный к стене дома газетный лист. Оставившись и прижав ладонью газету, я увидел в ней стихо-

творные строки. Так, на мартовском ветру Петрограда, я впервые прочел поэму Блока «Двенадцать». И показалось, что все, что бушевало вокруг, нашло свой поэтический язык. Даже метель была отнюдь не символической, а именно такой, какая крутила на улицах Петрограда. Я услышал в этой поэме и рассказ паренька о взятии Зимнего, хотя в поэме ничего не было о штурме. Но он присутствовал в огромном размахе, в пафосе, в ощущении новых, небывалых событий, в дыхании живой истории, отбрасывавшей, как хлам, прежние чувства, привычки, навыки.

В 1920 году мне привелось в очень узкой компании в Москве слышать в чтении Маяковского его «Мистерию-буфф», и вновь вспомнился мне рассказ молодого паренька у Павловских казарм. Представитель Наркомпроса, человек с полубезумными глазами, начал свое высказывание о поэме такими словами:

— У вас есть космическое ощущение...

Так тогда говорилось — «космическое ощущение». Душе не хватало уже и мирового масштаба, требовался космический.

Буржуазные газеты после Октября кончали свое существование. Была газета «День». Ее закрыли, но она вышла под названием «Вечер». Закрыли. Она переименовалась в «Ночь». Затем выпущен был листок «В глухую ночь», на чем газета и кончила свое существование. Часть сатириков начала издавать газету «Кузькина мать». Когда ее закрыли, она переименовалась в «Чертову перечницу». Газета эта пародировала все на свете — от передовицы, составлявшейся из газетных шаблонов того времени, до изменений названий, практиковавшихся тогда.

Прежний петербургский круг распадался. Многие побежали к белогвардейцам и в эмиграцию. Иные занялись торговлей.

Отец мой умер в начале 1918 года. Он был к этому времени почти одинок в Петрограде, почти никого из старых друзей его не было в живых, а новых он еще не успел приобрести.

Из писателей, которые бывали у отца, в Петрограде жил и со все растущей силой работал К. И. Чуковский. Мне было лет пять или шесть, когда Корней Иванович впервые появился у нас. Увидев меня, выбежавшего в прихожую, он, высокий, длиннорукий, длинноногий, черноусый, соорил удивительно внимательное лицо, потом за одну минуту лицо его переменяло несколько самых разных выражений — радостное, сердитое, огорченное, восторженное, бесстрастно спокойное, очень вежливое... Затем он взял меня за руку, мы вошли в комнату, и он тотчас же перепрыгнул через стоявший вблизи стул. Затем взял стул за ножку, поднял, подбросил его, поймал, поставил на место. Я никого не помню в те минуты, кроме него. Все это происходило как бы один на один. И я был покорен навеки — не просто этими «фокусами», а чем-то, что было за ними и что именуется обаянием.

В восемнадцатом году Чуковский приобщал меня к литературной работе в издательстве Наркомпроса.

В первый год революции на советскую работу шли интеллигенты, которых можно было по праву причислить к демократической, трудовой интеллигенции.

Таким был и мой дядя — профессор С. А. Венгеров.

— Я помню только три дня, когда я чувствовал себя свободным, — вспоминал он.

Эти три дня, проведенные на курорте на берегу Средиземного моря, так и остались единственными днями его отдыха. Остальные дни были полны напряженного труда. Многим, имевшим прикосновение к литературе, знаком был полу-

темный кабинет в большом доме на Загородном проспекте. По стенам — от пола до потолка — книги. Книги на полках, книги на длинном столе посреди комнаты, книги на этажерках. В глубине, у окна — письменный стол, заваленный бумагами, корректурами и раскрытыми для работы книгами, опять книгами. В кожаном кресле перед столом — крупная фигура человека, без которого немислимо было представить себе этот кабинет, эту квартиру в большом доме на Загородном проспекте. Книгам уже нет места в кабинете, даже квартира мала, нужна другая квартира — в верхнем этаже. Это не простое коллекционерство. Каждая книга, каждый корешок с номерным значком — знак труда, шаг на трудовом пути ученого и писателя.

Двадцатилетним юношей С. А. Венгеров, готовя книгу о Тургеневе, обратился к автору «Записок охотника» с вопросом: отпустил ли тот крепостных после «Хоря и Калиныча»? Уже тогда Семен Афанасьевич считал писателя учителем жизни, слово и дело писателя — слитными. В продолжение всей своей литературной деятельности он остался верен этой идее, позднее, уже в 90-х годах, получившей более определенную форму в статье «Героический характер русской литературы» и в книгах «Великое сердце», «Писатель-гражданин» и других.

Он не отрещивался от критики своих взглядов, ценил искренность и убежденность даже у своих литературных врагов. В последние годы его жизни некоторые из его учеников увлеклись формальным методом. Венгеров читал их статьи и книги, ходил на диспуты и говорил:

— Ведь так анатомировать художественное произведение — это все равно что лишать цветок аромата. Нельзя вынимать из художественного произведения душу.

Он отвергал формальный метод, но не отвергал талант-

ливых последователей его, которые, по его мнению, просто заблуждались. На их нападки он не обижался. Кажется, он не умел как следует обидеться, так занят он был литературным делом, поисками истины в этом деле.

В последней своей лекции «Евгений Онегин — декабрист» Венгеров вернулся к любимому поэту, которым занимался вплотную с 1906 года. Известны его превосходное собрание сочинений Пушкина, его исследовательские работы, посвященные Пушкину. Университетская молодежь проходила через созданный Венгеровым Пушкинский семинар. Об этом семинаре и о самом Венгерове с большой теплотой вспоминают Юрий Тынянов и Анна Караваева, Сергей Бонди и Б. В. Томашевский и другие писатели и ученые. Даже в 1920 году, когда еще не кончены были бои гражданской войны, когда голод, холод, эпидемии губили людей, количество участников Пушкинского семинара достигало необычайной по тому времени цифры в сто человек. Мечтой Венгерова было создание Пушкинского словаря.

Для него русская литература была, как женщина, «очаровательна». «В чем очарование русской литературы?» — так назвал он свою последнюю книгу. Он любил русскую литературу не отвлеченно, не разумом, а всей душой, как другие могут любить только женщину.

Где-нибудь в провинциальной газете кто-то что-то напечатал, чья-то фамилия появилась в нескольких тысячах экземпляров под какой-то незначительной статьей, и вот Семен Афанасьевич, сидя у себя на Загородном проспекте перед большим письменным столом, уже заметил провинциального автора. Из письменного стола вынималась особая карточка, и на нее рука ученого заносила неизвестную фамилию. И Венгеров уже хотел знать, где автор родился, сколько ему лет, — и автора уже не могли совсем забыть, потому что есть крити-

ко-биографический словарь, составляемый Венгеровым. Автор зарегистрирован любящей и внимательной рукой. А если фамилия все чаще и чаще появлялась в печати, то Венгеров уже хотел получить автобиографию и бережно приобщал ее к своему архиву, заключавшему огромное количество ценных материалов.

Естественно, что этот человек, так любивший литературу и литераторов, был председателем Литературного фонда, вечно готовым прийти на помощь нуждающемуся. Александр Грин в 1920 году после смерти Венгерова говорил мне:

— Он был очень добрый. Придет к нему кто просто на квартиру и попросит денег, он дает — из своих, конечно, — а потом просит: «Только не надо пить, молодой человек, это для работы, вы работайте». Такие деньги и пропить было стыдно.

«Русская поэзия XVIII века», книги о Тургеневе, Гоголе, Аксакове и других писателях XIX века, издания Белинского, Пушкина, Шекспира, Шиллера, Мольера, Байрона, библиотека «Светоч», «Критико-биографический словарь», «Русская литература XX века», многочисленные статьи и рецензии в журналах, газетах, энциклопедических словарях, и прочее, и прочее — от одной работы к другой, неустанно — и только три дня отдыха, о которых осталось воспоминание на всю жизнь.

В голодные годы Венгеров подходил иногда к полкам с мыслью продать хотя бы часть своих книг. Но книги напоминали о наслаждении труда, каждый раздел библиотеки был разделом трудовой жизни, и Венгерову уже хотелось пополнить библиотеку, а не продавать ее. Он отходил от полок, забыв о первоначальном намерении своем заменить маслом и сахаром эти знаки человеческого труда.

Революция позволила Венгерову осуществить давнюю мечту его о центральном библиографическом учреждении. Он стал организатором и первым советским директором нового учреж-

дения, названного «Книжная палата». Он продолжал при этом работу свою в университете, куда ходил пешком с Загородного проспекта по разрыхленным улицам. Он также читал лекции матросам на курсах Балтфлота. Выступал во вновь организованном под председательством Горького Доме искусств и в Доме литераторов.

Поздним вечером, оставшись один в кабинете, он брал с полки первую попавшуюся книгу, и начиналось, как сам он называл это, запойное чтение. При встречах он говорил с удивлением:

— Ты знаешь, я за неделю прочел всего Чехова.

Читал подряд — беллетристику, историю литературы, поэтов.

Он должен был выступить 20 сентября 1920 года в Доме искусств с лекцией «Евгений Онегин — декабрист». Но 14 сентября он умер от дизинтерии.

Он едва только начал соприкасаться с рождавшейся тогда советской литературой. Внимательно, доброжелательно читал, ходил на выступления и дискуссии, и те, кто встречался с ним, вспоминали о нем с любовью. Все подлинно новое всегда интересовало его, притягивало, увлекало. Его художественному вкусу в ряде случаев можно было довериться безоговорочно. Помню, как появилось в печати якобы найденное окончание «Египетских ночей» Пушкина. То была подделка, мистификация одного литератора, но нашлись даже и пушкинисты, которые поддались обману. В один из вторников (по этим дням у Венгерова собирались его друзья и ученики) Венгеро-ву дали экземпляр этой «находки». Венгеров прочел вслух несколько строк, отложил и, широко улыбаясь в свою большую бороду, вымолвил:

— Не-ет, это не Пушкин...

Спор был решен. Конечно, Венгеров оказался прав.

Саботаж, эмиграция — все это никак не могло коснуться его, до последнего дня своего он работал для России и для революции.

Венгеров принадлежал к той демократической, трудовой интеллигенции, для которой жизнь и труд были понятиями равнозначными.

Октябрьская революция породила новую, народную, советскую интеллигенцию и новую, революционную, советскую литературу. Эта книга моих воспоминаний посвящена советской литературе, ее рождению, отдельным ее представителям из числа тех многих, которых я знал, с которыми встречался, с которыми вместе работал.

*1965*



# НАЧАЛЬ- НЫЕ ГОДЫ



М. ГОРЬКИЙ

1

**В** пятнадцатом году в Польше я был контужен в грудь. Последствия сказались не сразу. Считаясь уже излеченным, направленный в один из стоявших в Петрограде полков, я на учении, при команде «на выпаде останься — коли!», упал в строю и подняться уже не смог. Брань унтера не помогла мне встать на ноги. Тогда меня сволокли в околоток, там фельдшер сунул мне под мышку градусник и очень удивился, что я не симулянт, — у меня было чуть ли не сорок градусов.

Меня отправили в военный госпиталь. Здесь, в приемном

покое, коротенький врач с маленькими жесткими глазками и злыми короткими усами, брезгливо выстукав меня, сказал фельдшеру, вытирая руки одеколоном:

— Чахотка.

В больничный листок он записал: «тbc, положение безнадежное», после чего меня положили в «палату смертников». Называлась эта палата так нехорошо потому, что там полагалось умирать во славу врачебного диагноза.

Приговоренный военно-медицинской наукой к высшей мере, я осваивал новое, предсмертное положение не без труда.

Палата была большая. В ней — человек двадцать пять больных солдат. Кто кашлял, кто бредил, некоторые были уже без сознания. Санитар, низкорослый, кривоплечий, без трех пальцев на правой руке, в некогда белом, но давно уже почерневшем халате, поставил мне на столик возле кровати баночку для мокроты и больше не беспокоил меня. Поскольку медицина приказала всем здесь умереть, постольку лечения нам не полагалось. Но кормили «смертников» лучше, чем в других палатах, — гречневой кашей и даже мясными котлетами начальство старалось скрасить последние дни нашей жизни.

Справа от меня лежал пожилой солдат, весьма солидный бородач, человек сумрачный, молчаливый и очень хозяйственный. Он ежедневно отчитывал санитар за мусор и грязь, которыми очень богата была наша палата. Но его немногословные строгие выговоры санитар выслушивал равнодушно, иногда только хмыляясь не без доброты. А чистенький фельдшер острил:

— Ты ж тут на временном пребывании, проездом, так сказать, в загробный мир. О боге думай, а не о вшах.

Слева от меня лежал молодой самокатчик, очень разговорчивый и любознательный. С необычным оживле-

нием, как о чрезвычайно радостном событии, он рассказывал о том, как его стукнуло осколком:

— Прямехонько в грудки.

Обо всем он говорил с удивительным восторгом человека, которому предстоит еще долгая, замечательно интересная жизнь, а не безвестная смерть в этой вшивой палате. Он был ровесник мне, ему было тоже девятнадцать лет, но книг в жизни своей он, малограмотный деревенский парень, почти не читал. Однако имя Горького было знакомо ему.

Горький был для него не живым человеком, а легендой, увлекательнейшей сказкой о том, как человек с самых низов дошел до самого верха и других туда зовет. Это была хо-рошая, внушавшая бодрость, обещавшая счастье сказка.

Книги Горького — то те, то другие — сопровождали меня от Прасныша до Полесья, от Нарева до озера Нарочь, постепенно вытесняя все остальные книги, всех остальных писателей того времени. И в петроградских казармах они дружили со мной. Они составляли поразительный, оздоравливающий контраст с господствовавшей литературой тех лет, удивительной по лживости шовинистической литературой, в которой стиралась грань между талантом и бездарностью.

Не помню, каким образом оказалось у меня здесь несколько книжек, среди них изданные тоненькими брошюрами «Двадцать шесть и одна» и «Рождение человека» Горького, а также его «Детство».

Двадцать шесть загнанных на дно жизни тружеников построили мечту — и она рухнула от прикосновения сытого животного. Но жизнь — не в нем, не в его сытой морде, жизнь — в пути, в дороге, на которой Горький помог женщине родить. Народ силен, как эта женщина, которая, родив, встала и пошла.

Вывранный солдатчиной из привычного с детства интел-

лигентского круга, я по-новому полюбил произведения Горького. Книгами своими Горький внушал мужественное отношение к самым тяжким бедствиям. Я не понимал тогда, что Горький стал для меня уже не просто любимым писателем, но учителем жизни. Книгами его я питался как хлебом, без которого не проживешь.

Насколько позволяла болезнь, я читал соседям своим рассказы Горького, и даже юный самокатчик не перебивал меня. Он слушал, разинув рот и сдерживая кашель.

«Детство» Горького самокатчику так и не пришлось узнать, потому что он умер.

Он умер вечером. Санитар убрал с его кровати белье и оставил голое безжизненное тело на грязном, в разноцветных пятнах, полосатом матраце до утра. Дело обыкновенное, незачем беспокоить начальство к ночи. Так мертвый самокатчик провел с нами последнюю свою ночь в «палате смертников».

Сосед мой и я не могли заснуть. В темноте кашляли, бредили, метались умирающие солдаты. Пахло потом, невымытым человеческим телом и почему-то щами, которые, очевидно, кисли в невынесенных тарелках в камерке санитара. Тяжелый, густой, отравляющий воздух. Мой пожилой сосед молчал, даже выговора санитару не сделал за то, что тот оставил покойника вместе с живыми. Он молчал торжественно и важно, повернувшись на бок и глядя туда, где желтело в сумраке неподвижное худенькое, мальчишеское тело. Он так величаво молчал, что наутро казалось мне: всю ночь мы с ним проговорили на самые важные, на самые глубокие и нужные душе человеческой темы.

То был не единственный случай, когда покойника оставляли лежать среди живых. Это случалось часто в нашей палате. Но на этот раз ко мне явился мой дядюшка профессор

С. А. Венгеров. Дня два тому назад я решил наконец известить его о своем неприглядном положении, отправил открытку, и вот теперь в дверях появилась массивная фигура с полукружием седой бороды, в белом халате.

Венгеров подошел ко мне, поглядел на соседнюю койку, на которой лежал мертвый самокатчик, уронил перчатки, заплакал и быстро пошел к выходу. Как он потом говорил, он вспомнил известную сцену из «Войны и мира» (посещение госпиталя Николаем Ростовым). Но у меня тогда не возникали литературные ассоциации, и я очень удивился странному поведению дядюшки.

Через несколько минут Венгеров вернулся с врачом, и меня вместе с моим пожилым соседом перевели в другую палату, а вскоре вызвали на комиссию. Мы оба — мой сосед и я — нарушили правила «палаты смертников», не умерли. Комиссия обоим нам оставила «положение безнадежное», но дала при этом только трехмесячный отпуск.

Я вышел из ворот госпиталя с книжками Горького в карманах шинели. Я не понимал еще, что вынашивалось во мне за время моей солдатчины, но поселилась во мне странная и твердая уверенность, что Горький, и не подозревавший о моем существовании, помогает мне прояснить до конца хаос и сумбур вынесенных из несправедливой войны впечатлений. Так действует на читателя писатель с высоким сознанием ответственности за свое дело, за каждое слово свое, за каждый поступок.

Вместе со мной вышел из госпиталя и мой пожилой сосед. Я очень полюбил этого солдата, и мне хотелось при прощании сделать ему что-нибудь самое приятное. Я вынул из кармана шинели «Рождение человека» Горького и подарил ему эту книгу.

Горького я никогда не видел, кроме как на портретах. По выходе из госпиталя несколько раз подходил я к дому, где помещалась редакция горьковского журнала «Летопись» и где, следовательно, была надежда встретить Алексея Максимовича, — но войти не решался и уходил.

И вдруг я встретил Горького — или это был не он? — совсем неожиданно и вдалеке от «Летописи», в трамвае.

Он был весь в черном: черная шляпа, черный, наглухо застегнутый пиджак, черные брюки, черные штиблеты и даже перчатки на руках тоже черные. Очень высокий и очень невеселый, он сидел в трамвае, составив вместе ноги, и если бы даже лицо его не было удивительно похоже на лицо Максима Горького, то все равно он обратил бы на себя внимание необычностью своего вида. Но к тому же лицо его было лицом Максима Горького, и потому пассажиры поглядывали на него с интересом и любопытством.

Я уже давно пропустил остановку, на которой мне нужно было сходить, и, наверное, не мигал уже минут двадцать. Передо мною в обыкновеннейшем петроградском трамвае сидел Максим Горький — не человек, а легенда, — и я рад был тому, что сам он — необыкновенный, резко отличающийся от остальных пассажиров. И вдруг он встал. Поднявшись с места, я последовал за ним.

Он сошел с трамвая, зашагал по Кронверкскому проспекту и пропал в подъезде одного из домов.

Горький это был или нет? Не знаю. Только после Октября я познакомился с Алексеем Максимовичем.

Корней Иванович Чуковский привлек меня к работе в издательстве, которым руководил Горький. Он привел меня

в служебный кабинет Алексея Максимовича так просто, как будто всякий мог входить сюда.

Я очутился лицом к лицу с высоким, чуть сутулым человеком, очень похожим на того, которого я видел в трамвае. Но этот Горький был одет в серый веселый костюм, голубой воротничок облегал его шею, которая казалась очень тонкой, весь он был гибкий и упругий и шагал по комнате мягко, неслышно, словно в туфлях.

Он внимательно и строго взглянул на меня, поздоровался, шевельнул губами так, словно хотел откусить правый ус, сел за стол и вновь поглядел на меня — на этот раз успокаивающе. У него было необычайно подвижное лицо, очень откровенное, и освещалось это лицо глазами выразительности чрезвычайной. Он промолвил:

— Да-с...

И придвинул к себе рукопись, лежавшую на столе. Склоненный над рукописью, он стал теперь похож на старого гокаря, изучающего чертеж.

— Талантливый человек, — обратился он к Чуковскому. — Будет писать...

При этом он одобрительно постукивал пальцами по рукописи.

Я не знаю, что это была за рукопись и кого похвалил тогда Алексей Максимович. Я был очень занят в тот момент — надо было придумать, куда девать руки и ноги, они вдруг стали мешать мне.

Алексей Максимович в те годы старался сплотить и старых и молодых вокруг одного великого дела — создания новой советской культуры, культуры для всего народа, а не для кучки «избранных». Алексей Максимович собирал и организовывал советскую интеллигенцию. Он хотел, чтобы люди умственного труда служили Советской власти, рабочим и кре-

стьянам молодой Советской Республики, бившимся на западе и на востоке, на севере и на юге против соединенных армий интервентов и белогвардейцев.

Он основал Дом ученых, Дом искусств, издательство «Всемирная литература» и т. д. Всякого человека, способного строить, создавать реальные ценности, он старался поддержать, давал ему дело в руки, ревниво следил за его работой. Он ценил людей не только по уже сделанному, но и по тому, что они еще могут сделать, по возможностям, заложенным в них.

Горький намерен был издать все лучшие произведения мировой литературы. В этом громадном деле мне назначено было доставать сочинения русских и иностранных писателей. Окончательного и точного плана изданий еще не было, и мне была предоставлена некоторая свобода в выборе книг. Вскоре я не знал уже, куда и класть все эти многотомные труды гениев и талантов.

Работа эта была, в сущности, больше физическая, чем умственная. Ума требовалось ровно столько, чтобы понимать разницу между Тургеневым и Боборыкиным, физической же силы надо было прилагать куда больше, ибо иные «собрания сочинений» представляли собой немалую тяжесть.

Живые писатели — знаменитые и не знаменитые — приносили и присылали в издательство свои книги сами. Василий Иванович Немирович-Данченко привез свое полное собрание сочинений на тележке. Алексей Максимович поглядел на всю эту обильную продукцию, сложенную стопками прямо на полу, и сказал:

— А ведь Немирович хорошо написал о Кавказе.

Он нагнулся, вытянул нужный том и спрятал его в портфель. Это означало, что он еще раз прочтет эту книжку и, если понадобится, отредактирует ее.

Великолепно зная произведения классиков, Алексей Максимович хранил в памяти своей и книги второстепенных, третьестепенных, десятистепенных писателей. Память его казалась мне столь же обширной, как все шкафы с книгами, взятые вместе.

Книги копились в издательстве, заваливая полки, шкафы, столы, подоконники, кучами вырастая на полу. Живые книги поступали в работу, мертвые — в архив, дискуссионные — на заседания. Образовывалось немалое кладбище мертвых книг. Можно было предаться грустным размышлениям, глядя, как целые собрания сочинений находили в архиве свое успокоение.

В первую очередь отправились в архив книги «военных рассказов», которые в таком изобилии пеклись в годы империалистической войны. Честные фронтовые читатели еще до революции шарахались от этих книг, как от генеральского окрика, или как от какого-нибудь коменданта узловой станции, особенно любящего сажать под арест отпускных солдат, или попросту как от смертоубийственного «чемодана». В этом фальшивом шовинистическом оркестре соединялись в те годы литераторы самых разных направлений — и мистики, и реалисты, и эстеты, и пессимисты, и бодрячки. И странно, что авторы принесли сейчас все это для издания, — это было уже чрезмерной слепотой.

Вскоре Алексей Максимович вызвал меня к себе на квартиру. Я твердо решил держаться с Алексеем Максимовичем так же просто и свободно, как и другие работники издательства. Так я решил, шагая по холодным и голодным улицам Петрограда на Кронверкский проспект. Шел я, как полагалось в девятнадцатом году, не по обмерзшим тротуарам, а прямо посреди разрушающихся мостовых, и не оглядываясь на такие привычные детали города, как, например, неубранные лошадиные туши.

Я накопил в себе достаточно дерзости, чтобы бестрепетно постучать в дверь квартиры Алексея Максимовича и войти в столовую, куда был позван.

Алексей Максимович сидел за столом в голубой сорочке, без пиджака, покуривал, а на столе уютно шумел самовар — небольшой, пузатый, деловитый. Помнится, Алексей Максимович был один.

Горький, поздоровавшись, указал на стул против себя:

— Прошу.

Я передал Алексею Максимовичу список закупленных мною книг. Насупив брови, отчего лицо его сразу стало неизмеримо суровым, Алексей Максимович прочел список, затем промолвил:

— Слепцова надо достать «Трудное время». Отличная вещь. Златовратского почему не взяли? Надо еще посмотреть «Записки мелкотравчатого»... Решетникова не забыли? Вы еще зайдите...

Он рекомендовал мне двух-трех книжников с Литейного и продолжал перечислять забытые мною книги. Список был невелик и касался тех писателей, которых я либо не читал совсем, либо никак не привык ценить по навыкам своего воспитания. О существовании «Записок мелкотравчатого» я даже и не подозревал и не знал, кто и написал их. Алексей Максимович спокойно разъяснял мне значение писателей, произведения которых отсутствовали в моем списке, не видя, очевидно, случайности в том, что я упустил их. Это было очень похоже на урок. Но ему приходилось обучать так и старых, заслуженных литераторов.

Внезапно он прервал себя.

— Да вы себе чаю налейте, — сказал он, кивая головой на самовар, и шея его чуть вышла из воротничка. — Налейте. Вот перед вами чашка.

Я поставил чашку под кран, открыл его, но закрыть уже не смог. То ли с краном что-то случилось, то ли урок на меня так подействовал, но кран категорически отказался поворачиваться. Вода выливалась на поднос, я весь вспотел, но ничего не мог поделать с взбунтовавшимся самоваром.

Алексей Максимович поднялся, прошел ко мне, легким движением пальцев закрыл кран и поставил чашку передо мной. Вернулся на свое место, закурил и сказал:

— «Записки мелкотравчатого» вы у Десницкого попросите. У него есть.

Я поглядывал с изумлением и страхом на медный кран, как на живое и недоброе существо. Этот проклятый кран не пожелал подчиниться мне, но без всякого сопротивления покорились Горькому. Вещи слушались Горького. Если он брал в руки какую-нибудь безделушку и начинал поворачивать ее, рассматривая, то этот предмет, зажатый между большим и указательным пальцами его руки, как бы оживал, играл, прихорашиваясь, и, казалось, остался бы висеть перед его глазами, даже если б он выпустил его. Горький любил произведения рук человеческих, и вещи отвечали ему взаимностью.

Список книг, закупленных мною, Алексей Максимович одобрил. Но дополнительный список, который дан был Алексеем Максимовичем, показал мне, что книги не только умирают, но могут и воскресать из мертвых.

Время меняет оценку. Книги испытывают судьбу независимо от их авторов. Можно сколько угодно рекламировать плохую книгу, но она все равно рано или поздно умрет. И можно как угодно ругать или замалчивать хорошую книгу, но она все равно останется в живых.

Однажды был литературный вечер в клубе милиционе-

ров. Большой зал был полон народу. Обещаны были выступления лучших писателей, в том числе Максима Горького.

Знаменитости один за другим читали свои произведения. Их встречали и провожали вежливо, слушали внимательно и с уважением. Но когда появился перед публикой Алексей Максимович, зал грохнул аплодисментами и приветствиями. И сам Горький, в отличие от других выступавших, чувствовал себя совершенно свободно, был очень весел и весь светился оживлением.

— Ну да, — раздраженно сказал кто-то из присутствовавших здесь литераторов своему соседу, тоже литератору, — здесь он в своей компании.

Алексей Максимович, бесспорно, был здесь в своей компании. Он был с народом, он был единственным подлинно народным писателем среди выступавших. Революция принимала все без исключения произведения его.

Он хотел и других писателей убедить в том, что надо работать для народа. Он давал им работу, подсказывал темы, с величайшим тактом учитывая возможности каждого.

Вокруг Алексея Максимовича собиралось все больше и больше литераторов, ученых, художников, интеллигентов всех профессий. Иными из новоявленных друзей Алексей Максимович увлекался чрезвычайно. Он вообще увлекался людьми часто и неудержимо.

Позже, в двадцать первом году, в беседе с нами, молодыми, начинающими писателями, он сказал как-то:

— Меня называют бытовиком, даже натуралистом. Но какой я бытовик? Я — романтик.

Далеко не все оправдывали эти его порывы. Приходилось ему часто обманываться в людях. Но он все равно не менял

своего поведения и продолжал увлекаться то тем, то другим.

Это была в нем изумительно молодая черта, редкая для писателя, справившего пятидесятилетний юбилей со дня своего рождения.

### 3

Прошло несколько недель, и в работе моей совершилась серьезная перемена. Я сидел уже за секретарским столом в той же комнате, в которой принимал посетителей Алексей Максимович Горький, и сознание мое явно отставало от действительности.

Гордый, испуганный, счастливый и растерянный неожиданным выдвижением на столь высокий пост, я робел каждый раз, когда входил в комнату Алексей Максимович. Никак не мог я привыкнуть к тому, что нахожусь чуть ли не в ежедневном общении с Максимом Горьким. Среди посетителей попадались люди весьма известные, даже знаменитые — академики, профессора, писатели. Я был полон почтения и энтузиазма.

К тому часу, когда являлся Алексей Максимович, толпа просителей обычно ожидала его в приемной. Все они так горячо выражали свои чувства Алексею Максимовичу, что казались равно обожающими его.

Алексей Максимович приходил всегда с толстым портфелем под мышкой. Из портфеля он вынимал одну за другой прочитанные рукописи и книги и выкладывал их на стол.

Очень высокий, очень гибкий, очень бесшумный, он для меня был вне возраста. Он представлялся мне очень старым и мудрым и очень молодым, самым молодым и даже шаловливым, когда, весь светясь, начинал, например, рассказывать

что-нибудь забавное и увлекательное, изображая вдруг то официанта, то — неожиданно — пастуха в киргизских степях.

Я доверчиво полагал, что те, кто объясняется в любви к Алексею Максимовичу, действительно преданы ему и революции, — был я все-таки еще очень молод, возможность дистанции между истинным чувством человека и словом его была неясна мне.

Чуть ли не единственным исключением считал я нашего юрисконсульта. Он имел наглость публично есть сало. Где он доставал его — неизвестно. Он все пожирал сам, никого не угощая. Неприятно было глядеть на его кругленькое брюшко, распиравшее жилетку. Щеки и губы его вечно лоснились, маленькие пороссячы глазки искательно и блудливо улыбались, нос у него был тупой и приплюснутый. Самый сытый человек среди служащих, он осмеливался высказывать пренебрежение даже к конине, деликатесу девятнадцатого года. Он стал ближайшим объектом моей ненависти. Я считал его способным на всё.

В этом юрисконсульте я подозревал даже одного из анонимных корреспондентов, грозивших стянуть петлей шею Максима Горького. Алексей Максимович получал много писем, и случалось, что из конверта вдруг вываливалась завязанная петлей веревка, — это очередной негодяй грозил великому писателю расправиться с ним по-белогвардейски. К угрозам этим Алексей Максимович относился юмористически.

Алексей Максимович хлопотал о пище, о сапогах, о жилье для людей умственного труда и от каждого требовал хорошей работы. Просьбы же он принимал всякие.

Писатель Федор Сологуб должен был дать Алексею Максимовичу новое свое произведение, но вместо ожидаемой рукописи принес ему ходатайство о корме для своей коровы.

Алексей Максимович внимательно, чуть сдвинув брови,

прочитал это ходатайство, проставил в одном месте недостающую запятую и тут же, взяв листок бумаги, начал терпеливо покрывать его крупными, почти печатными буквами, составляя письмо в помощь корове Сологуба. При этом подвижное лицо его стало сердитым, словно он делал кому-то выговор.

Передавая это письмо Сологубу, он улыбнулся, стер движением губ усмешку и вновь улыбнулся. Он привычен был ко всякого рода ходатайствам, даже самым курьезным.

Случилось однажды, что один бывший статский советник обратился к Алексею Максимовичу с просьбой вернуть ему его утраченный чин. Алексей Максимович очень обрадовался этому статскому советнику, — он любил анекдоты.

Алексей Максимович никого не оставлял без внимания, и не бывало так, чтобы человек ушел, не повидав его.

Было подчас непонятно, как это хватает времени у Горького на все, что он делал. Он вел огромную организационную и общественно-политическую работу, читал и редактировал громадное количество рукописей, писал, регулярно принимал посетителей по самым разнообразным делам, иногда не имеющим никакого касательства к литературе.

Приемная всегда была полна народу в те дни, когда приходил Алексей Максимович. Глаз мой привык к этому зрелищу битком набитой приемной. Тем более удивительно было отметить мне, что толпа посетителей стала вдруг редеть.

Это случилось осенью девятнадцатого года, и я вначале никак не соединял такой неожиданный факт с наступлением Юденича на Петроград. Мне он казался случайностью. Но чем ближе подходил Юденич к Петрограду, тем меньше становилось посетителей у Алексея Максимовича, и притом посетителей непризывного возраста.

Приемная пустела.

Это была невеселая картина.

Один за другим исчезали почтительные визитеры, так обожавшие Алексея Максимовича.

Это всем стало заметно. И юрисконсульт пояснил цинически:

— К Юденичу в очередь выстраиваются.

Хихикнув, он продолжал:

— Им теперь Горький не нужен. Зачем им Горький? Он их еще под виселицу подведет. С ним теперь опасно. Они к Юденичу готовятся. Каждый человек жить хочет.

И я возненавидел юрисконсульта за эти его слова еще больше прежнего. Когда он исчез, я нисколько не усомнился в том, что он убежал к Юденичу.

По приемной Горького можно было измерять приближение Юденича к Петрограду. Утешительно было все-таки то, что наиболее революционная часть тогдашней интеллигенции не оставила Алексея Максимовича. Среди этих людей были его честные помощники и сотрудники в той колоссальной работе, которую он вел тогда. Но остальные отхлынули, отшатнулись, сгнули в те осенние тревожные дни.

В тот день, когда Юденич подступил к самым воротам города, Алексей Максимович, как всегда, явился на работу.

На столе в кабинете его ждала большая пачка писем, и Алексей Максимович принялся вскрывать их. Вот он вынул из одного конверта петлю, а вот вторую, третью... Были и письма с площадными ругательствами. Сейчас их стало особенно много. Известно было уже, что у Юденича составлен список большевиков, подлежащих немедленному повешению, и список этот открывался именем Максима Горького.

Алексей Максимович аккуратно складывал присланные ему анонимными белогвардейцами петли одну на другую. Возводя башенки из смертоносных петель, изредка откиды-

вался на спинку стула, проводил пальцем по усам, потом продолжал свое удивительное занятие, и синие глаза его сияли любопытством и насмешкой. Пока его умелые, сильные пальцы играли с заготовленными для него удавками, в комнату один за другим заходили ближайшие его друзья, помощники во всех делах.

Вынув из последнего конверта последнюю петлю и ловко устроив ее на верхушке башенки, Алексей Максимович поднялся и, чуть сутулясь, прошелся по комнате.

Затем он сидел с друзьями в фонаре, висящем над Невским проспектом. Это был действительно фонарь — остекленный выступ, лепившийся к стене дома. Во всю длину свою виден был отсюда мертвый проспект. Ни трамваев, ни извозчиков, ни случайных прохожих. Только изредка показывались конные и пешие патрули, да на ближайшем перекрестке дымилась угли ночного костра.

Алексей Максимович перебирал имена исчезнувших писателей. Он говорил, то и дело по привычке своей касаясь пальцами усов:

— Мережковский... он, как фокстерьер, висел на моей ше...

В его глуховатом баске слышалась усмешка.

— Сологуб... У него душа — как недоношенный ребенок в спирту, уродец, да...

Он помолчал и промолвил вдруг:

— А моя душа сегодня — как большая кошка с рыжими глазами, и шерсть стоит...

Мимикой и жестами он изобразил эту самую кошку, душу свою.

В приемной было пусто.

Обычные просители не появлялись сегодня, чтобы лишний раз объясниться Алексею Максимовичу в любви. Пустая

приемная была как дыра, брешь, пробитая в наивном представлении о людях.

Поздним вечером по поручению Алексея Максимовича я отправился в Наркомпрос.

На Чернышевой площади худенький человечек наскочил на меня. Это был Мережковский. Скороговоркой, страшно волнуясь и торопясь, он вываливал свои тревоги. Он весь дрожал и дергался в этом ночном мраке между кооперативом и Наркомпросом.

Мережковский хотел, чтобы Юденич взял Петроград завтра к вечеру, — тогда он успеет утром получить в Наркомпросе гонорар за полное собрание сочинений, а затем он заново продаст книги Юденичу. Он хотел получить и тут и там. Он не считал меня человеком, — он походя наплевал мне в душу, как в помойку, и побежал дальше, терзаемый заботами суетного света.

Потом посетители стали возвращаться в приемную, они прибывали с каждым днем. Их становилось тем больше, чем стремительней откатывались банды Юденича к Нарве. И опять они так горячо выражали свои чувства Алексею Максимовичу, что казались равно обожающими его.

Алексей Максимович принимал посетителей по-прежнему внимательно, заботился о каждом. Он спокойно и настойчиво продолжал воспитывать людей, отвоевывая для Советской власти всех, кого можно было отвоевать среди старой интеллигенции. И усилия его, как известно, оправдались в отношении многих.

Нельзя, впрочем, сказать, что ко всем одинаково относился Алексей Максимович. Уравниловки не было.

От иных он уже ничего хорошего не ждал и не надеялся на них. Бывало так, что, слушая того или иного просителя, он старался не глядеть в глаза ему, словно ему стыдно было

за человека, гладил сердитый ус, стучал пальцами по столу и вдруг обрывал собеседника неожиданным словом или движением.

Среди других, пропавших в дни наступления Юденича и вновь появившихся после разгрома белогвардейских банд, был один толстовец, отличавшийся большим к себе уважением. Он, видимо, склонен был несколько путать себя с самим Львом Толстым, хотя обладал качествами, как раз противоположными качествам великого писателя.

Придя к Горькому, он, вполне уверенный в своих великодушных достоинствах, присел на край стола и обратился к Алексею Максимовичу с какими-то глубокомысленными словами, смысл которых, впрочем, заключался в простой просьбе — то ли о дровах, то ли о чем другом.

Можно было не глядеть на Горького, чтобы понять, какой прием был оказан этому развязному бородачу. Голос толстолица стал никнуть, оборвался. Затем он как бы невзначай полз со стола, попятился, несколько уменьшился в размерах и вильнул к двери.

Алексей Максимович при этом не произнес ни слова.

Юриисконсуьлт так и не вернулся. Но он не ушел к Юденичу, как некоторые из посетителей Горького, не был участником какого-либо белогвардейского заговора. Оказалось, что он просто воровал продукты из кооператива вместе с заведующим, за что и был арестован. Он был обыкновенным воришкой, не больше того.

Как-то зимой я встретил его. Распахнутое пальто было вываляно в снегу. Он шатался, бледный, осунувшийся, и пахло от него, как от испорченного автомобиля: он надрался бензином, который назывался тогда автоспиртом. Значит, он был уже выпущен из тюрьмы. Но милиционер теперь вновь тащил его куда следует.

Этот бывший злодей мой показался мне теперь одним из самых безобидных гадов на свете.

Вскоре после тех дней привелось мне однажды ехать с Алексеем Максимовичем к нему домой на извозчике. У меня было заготовлено чрезвычайно много всяких слов для разговора о том, что случилось. Но слова никак не шли с моего языка. Робость сковала меня. Полный самых возвышенных чувств, я молчал и мучился. Но, казалось мне, Алексей Максимович все равно видит меня насквозь и все понятно ему без слов.

Алексей Максимович сидел прямо, положив портфель себе на колени. Он молчал, изредка покашливая. Для него, конечно, не нов был опыт последних дней. Он знал людей. Он знал все. Он был очень старый, самый старый и мудрый, но черная широкополая шляпа его была молодо и шаловливо сдвинута на ухо. И, может быть, в душе его в тот момент зрел образ Клим Самгина.

#### 4

Алексей Максимович отлично знал всякую физическую работу. В те годы и ученые академики, никогда не бравшие топора в руки, сами подчас кололи дрова. Но много времени тратилось при этом на каждое полено, и левая рука не помогала правой. Горький раскалывал полено, придерживая его левой рукой, как опытный дворник, — он не боялся отрубить топором палец.

Он прекрасно чувствовал паразита даже в самом привлекательном обличье. Если в словах собеседника он улавливал пренебрежительное отношение к людям физического труда и склонность кичиться своей высокой интеллигентностью, в нем тотчас же подымался старый пролетарий, и «аристократ

духа» тонул немедленно. Алексей Максимович умел отбрасывать, когда нужно было, всякую вежливость.

Все проявления творчества человеческого были драгоценны ему, вся жизнь была для него непрерывным творчеством, созданием все новых и новых ценностей на благо людей, и душе его близок был всякий труд — и литератора, и токаря, и живописца, и плотника. Ценил он человека прежде всего по работе.

В работе каждого он умел отделить плохое от хорошего. Одна переводчица представила книжку туманных рассуждений о западноевропейской литературе. Книжка эта оказалась знакома Алексею Максимовичу, и он, отбросив ее, промолвил:

— Никому не интересно знать, что думает эта образованная дама о литературе.

А переводы этой же «дамы» он похвалил:

— Отличная работа.

С любопытством обозревал он бывших хозяев жизни, которых быт того времени бросал подчас к нему. Среди этих вымирающих экземпляров человеческой породы попадались иногда оригинальные фигуры. Однажды, например, явилась к Алексею Максимовичу барыня, которая требовала, чтобы в ее дом (так она и выразилась — «в мой дом») не вселяли семей с детьми:

— От детей всегда идет беспокойство и сырость.

Алексей Максимович, выпроводив ее, сказал заинтересованно:

— Курьезная мадам. Ведь какое изуверство — сырость от детей... Говорит, как про слизняков каких-то...

Он ненавидел паразитов, в каком бы обличье они ни показывались — в виде ли такой барыни или в образе высокоинтеллигентного бородатого толстовца.

В то же время он давал жестокий отпор истребителям людей умственного труда — махаевцам. Помню, как, встретив очередное препятствие в организации Дома ученых, он, взволнованный, шагал по комнате и говорил:

— Такие прямо голову хотят отрубить России. А ведь хромоногий Кони — и тот работает, взобрался сегодня ко мне по лестнице. . .

Он перечислял ученых, работавших с ним рука об руку, и восхищение звучало в его голосе. Неистребима была в нем вера в мощь человеческой мысли, человеческого труда.

Много хлопот доставляло ему устройство разных бытовых дел интеллигенции. Как-то, сочиняя очередное рекомендательное письмо для кого-то из литераторов, он вдруг откинулся на спинку стула и промолвил весело:

— А ведь я прямо как полицмейстер.

Удивительна и невероятна была его работоспособность. И никогда при этом он не жаловался на избыток обязанностей и ношу свою нес, по-видимому, легко, охотно и энергично. Он слишком уж не жалел себя, а люди в большинстве тоже не жалели его, стараясь взвалить на него и свои маленькие заботы.

К его пятидесятилетию группа писателей решила издать сборник статей о нем. Мне поручено было составить для этой книги хронологическую канву. С огромным азартом принялся я изучать жизнь Алексея Максимовича для этой суховатой работы. После службы, поев пшенки и воблы, я бежал в Публичную библиотеку и погружался в комплекты старых газет.

Мне пришлось убедиться в том, что в этих газетах было затеряно немало ценных произведений Алексея Максимовича,

ни им самим, ни кем-либо другим не собранных. Я продемонстрировал как-то Алексею Максимовичу список этих забытых вещей, но он просил меня доставить ему только два или три рассказа, среди них — рассказ «Схимник».

Перелистывая все эти «Волжские вестники», «Нижегородские листки», саратовские и самарские газеты, я увидел, что библиографическая работа бывает и не такой унылой, как представлялось мне раньше. В ней оказалось возможно вдохновение открывателя новых земель, исследователя неведомых дебрей.

В книге о Горьком должны были участвовать многие писатели и ученые. Самый неожиданный материал понадобился Александру Блоку — отзыв какого-то митрополита об Алексее Максимовиче. Не помню, к сожалению, что это был за митрополит или, может быть, архимандрит и что он такое сказал о Горьком, но поразительно было своеобразие материала.

Горький отменил эту книгу. Но моя работа, уже превращавшаяся в биографию Горького, продолжалась, и Алексей Максимович не раз давал мне самые разнообразные сведения о людях, которых он помнил и ценил, но не о себе. Впоследствии все собранное тогда мною я отдал И. А. Груздеву.

В том же году, в котором Алексей Максимович отменил книгу о себе, он нашел старые свои заметки о Толстом. Он хотел обработать их, но однажды принес их в издательство, бросил на стол и сказал:

— Ничего с ними не могу поделаться. Пусть уж так и останутся.

Так получилась своеобразная форма замечательных воспоминаний Горького о Толстом.

Задумал и издал он сборник и о Леониде Андрееве, смерть которого вызвала слезы на его глаза.

В статье о Леониде Андрееве Алексей Максимович называл

его «единственным другом в среде литераторов». Эта горькая фраза вскрывает многое в отношениях Горького с дореволюционными писателями, вернее — в отношениях дореволюционных писателей к нему.

Алексей Максимович, конечно, не был одинок в родной своей стране. Народ, победив, поставил его во главе литературы и в качестве руководителя многих культурных организаций. Алексей Максимович никому не припомнил прежних обид, привлекая к работе и тех, кто некогда пытался затравить его.

Он глядел не в прошлое, а в будущее.

Исследуя жизнь и деятельность Алексея Максимовича можно было обучиться тому, как жить и работать. Из страшного детства, из голодной юности, со дна жизни поднял Алексей Максимович нерушимую веру в возможность организации счастья на земле.

Горького хорошо знали в народе. На Красной улице помещались курсы комсомола, не успевшего справиться в ту пору еще и первую годовщину своего существования. На этих курсах, где я проводил занятия, часто возникали разговоры о Горьком, о его героях как о живых людях. Юноши и девушки переносили героев Горького из прошлого в современность, как бы домысливая их развитие. Вспоминаю, как однажды спор о Гавриле из рассказа «Челкаш» перешел в разговор о деревне, о путях крестьянства, о самых актуальных проблемах того времени.

Иногда мне приходилось сопровождать Алексея Максимовича с работы к нему домой на Кронверкский. Обычно Горькому давали лошадь. Как-то съехали мы на извозчике, и единственный экипаж на пустынном проспекте привлек внимание милиционера, молодого парня. Он остановил извозчика, подошел проверить и увидел Горького, Сдвинув белесые

брови, милиционер напряженно всматривался в как будто знакомое лицо и не мог сообразить, где он встречал этого гражданина в старомодной черной широкополой шляпе, в черном длиннополом осеннем пальто с наполовину поднятым воротником и с толстым портфелем на коленях. Наконец он осведомился хриловато:

— Как фамилие?

Алексей Максимович назвал свою подлинную фамилию:

— Пешков.

Похоже было, что фамилия эта ничего не подсказала милиционеру. Но лицо этого Пешкова было ему все же удивительно знакомо. Наконец он, решившись, махнул рукой:

— Проезжайте, товарищ Пешков.

Извозчик тронулся. А лицо милиционера вдруг просветлело, он вспомнил, сообразил или догадался — не знаю, но, во всяком случае, крикнул вслед весело, радостно:

— Здравствуйте, товарищ Горький!

## 5

Революция создавала новую советскую литературу. Гремели стихи Маяковского и других революционных поэтов. Но советской прозы в двадцатом году еще почти не было.

Она еще только рождалась. Она шла с полей гражданской войны, со всех концов страны.

В Петрограде будущие советские писатели ходили «на огонек» в Дом искусств.

Дом искусств помещался на углу Мойки и Невского проспекта. Это был большой дом с многочисленными ходами и переходами, с залами, библиотекой. Хозяин дома, богач Елисеев, бежал в первые дни революции, дом опустел.

Этот обширный, поистине холодный дом был отдан деятелям искусства. В комнатах для елисейских лакеев и горничных поселялись писатели и художники. Это было весьма пестрое общество, в котором соединялись разные стили, разные взгляды на искусство и жизнь, разные идеологии. Все это жило под одной крышей, дружило, враждовало, боролось.

Заселение дома началось в девятнадцатом году, а в двадцатом году под жильё пошли уже и библиотека, и ванная, и чуланы — всякий угол, где только мог уместиться человек.

Новые жильцы проводили ночные дежурства у ворот и подъездов, бегали в Дом ученых за пайками, выходили на субботники по очистке тротуаров и мостовых, читали лекции в Балтфлоте и милиции, много заседали, спорили, устраивали выставки картин, писали на бумаге, выданной из бухгалтерских grossбухов, заполнявших первый этаж, где до революции помещался банк.

Во главе обширного совета Дома искусств стоял Горький, — так же как и во главе Дома ученых, издательства «Всемирная литература» и других культурных учреждений того времени.

Молодежь в двадцатом году еще не влияла на развитие литературы. Господствовали старики, настроение большинства из них отнюдь не было революционным. И эти настроения выражались подчас весьма явственно.

Двадцатого сентября 1920 года в петроградском Доме искусств был дан банкет в честь приехавшего к нам знаменитого английского писателя Уэллса.

Это был необычайно богатый по тем голодным временам банкет. Иностранного писателя принимали очень, гостеприимно. Длинные столы в большом зале были покрыты чистыми скатертями Елисева. На столах не только хлеб и кол-

баса, но у каждой тарелки лежала даже палочка настоящего, давно не виданного шоколада. Горело электричество, топилась печь.

Максим Горький и Герберт Джордж Уэллс сидели друг против друга — старые знакомые, коллеги по мировой славе.

Приземистый, коренастый, упитанный, Уэллс, этот автор увлекательнейших фантастических романов, имел вид расчетливого практика, самого реального из людей. Он был скептичен, устойчив, неподвижен.

Лицо Алексея Максимовича выражало все движения его души.

Вот глаза его улыгнулись, — Горький увидел среди присутствующих любимого им человека. Но тотчас же он насутился, поглядывая направо и пальцем теребя ус: пришла и шумно разместилась за столом большая группа журналистов из закрытых буржуазных газет.

Лицо Алексея Максимовича нельзя было назвать неподвижным. Это было живое лицо живого человека, а не маска. И оно меняло свое выражение в зависимости от того, куда был направлен взгляд, и от того, что происходило.

А происходило неладное.

Когда начались речи, состав собравшегося общества определился ясно. Особенную активность проявляли журналисты закрытых газет. Отдельные голоса советских литераторов заглушались ораторским темпераментом людей, выбывших вскоре после этого вечера в эмиграцию. Эти ораторы жаловались, просили помощи, клеветали, но действовали они все же в достаточно осторожной форме: они орудовали намеками, дополняя слова безнадежными жестами, скорбными и гневными взглядами: «Невозможно, мол, все сказать до конца, опасно, но вы сами понимаете...» Один из ораторов так и выразился:

— Мы лишены права говорить членораздельно.

Апогеем этого ряда выступлений была речь известного в дореволюционные времена писателя Амфитеатрова. По изобилию сочиненных им книг он был равен, пожалуй, только Боборыкину и Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, и был этот человек невероятных объемов.

Он решил быть самым бесстрашным и разоблачить все до конца.

Он говорил, вкладывая в слова весь свой темперамент:

— Вы, господин Уэллс, видите хорошо одетых людей в хорошем помещении. Это — обманчиво...

Тут он взъярился и, вообразив себя, очевидно, перед многотысячной аудиторией, завопил:

— Но если все здесь скинут с себя верхние одежды, то вы, господин Уэллс, увидите грязное, давно не мытое, ключьями висящее белье!..

Тут Алексей Максимович улыбнулся.

Это уже был анекдот. Стараясь разоблачить перед иностранным гостем «ужасы революции», противники самым комическим образом разоблачали самих себя.

Все же Алексей Максимович поднялся с места и промолвил:

— Мне кажется, что ламентации здесь неуместны.

Но это замечание вызвало разные протестующие возгласы. Амфитеатрову оно только прибавило пафоса.

Вскоре после этого Амфитеатров бежал за границу и объявился уже в белогвардейской прессе.

Здесь, в этом зале, как и везде, Алексей Максимович олицетворял движение, вечное движение вперед — жизнь.

Его произведения, самые реалистические, самые страшные, проникнуты мечтой о лучшем человеке и лучшей жизни.

Алексей Максимович прошел сквозь испытания потяже-

лее, чем «клочьями висящее белье», и не пошатнулся в верё своей в творческие силы человека.

Свою ответную речь Уэллс адресовал главным образом небольшой кучке присутствовавших здесь подлинно советских людей. В его ответе сказалось стремление понять суть «коммунистического опыта», как выразился он.

Никто больше не просил слова.

Представление кончилось.

Тогда Алексей Максимович поднялся и сказал очень весело:

— Приветственные речи кончились, чему я очень рад. Я надеюсь, что прекрасный ум Уэллса, — вежливый полупоклон в сторону гостя, — извлечет из всех этих речей какое-нибудь жемчужное зерно, если оно имеется в них. Революция непобедима. Она перестроит мир и людей. . .

Он, первый мировой писатель пролетариата, говорил как судья и хозяин — уверенно и свободно. Его краткая, чуть ироническая речь дышала огромным достоинством.

1941



# СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ



## 1

**В** давние времена, в годы перед первой мировой войной, некий предприниматель устраивал литературные вечера и диспуты в помещении Калашниковской хлебной биржи, находившейся за один квартал от Староневского проспекта. Однажды состоялся тут широко разрекламированный вечер футуристов.

Председательствовал на этом диспуте почтеннейший академик Бодуэн-де-Куртенэ. Рядом с ним за длинным столом, возвышаясь над публикой, набившей до отказа обширный,

вместительный зал, сидели, перешептываясь, поэты разных направлений.

Публика ждала скандала, потому что если футуристы — то скандал обязателен.

Сразу было отмечено, что нет Маяковского.

Доклад делал молодой, кудрявый Виктор Шкловский, на нем был длинный парадный студенческий сюртук. Шкловский со все нарастающим темпераментом подымал паруса новой поэзии, новой лингвистики, новой филологии. Говорил он образно, как поэт. После него Николай Бурлюк, один из главварей футуризма, в своем кратком выступлении употребил даже старинное выражение «светоч искусства», а затем очень искренним, задушевым голосом прочел простые лирические стихи, без всяких «дыр-бул-шур», с рефреном: «Мама дома?» Ничего скандального. Молодая часть аудитории была несколько удивлена. Старики успокоились.

Но тут на трибуне выросла фигура этакого разбойника, рыжего, размашистого, коренастого. Самый доподлинный футурист-скандалист. После первых же его слов поднялся такой шум, что ничего невозможно было услышать. До меня донеслось только «к черту». Кого к черту, за что к черту — понять было трудно. Человек орал на трибуне, зал орал ему в ответ.

Наконец-то скандал!

Как в повернутом калейдоскопе, оказался вдруг на трибуне поэт Владимир Пяст, никак не футурист. Он дрожащей рукой (запомнилась широкая кисть, вылезшая из слегка задравшегося рукава) поднес к губам стакан с водой, отхлебнул, отставил стакан, снова схватился за него, а из груди его с каким-то мелодраматическим клокотаньем вырывались жалобные и гневные выкрики. Смысл удалось уловить — его, Пяста, пришедшего сюда с открытой душой, сочувствующе-

го, доброжелательного, послали к черту. Он размахивал какой-то тонюсенькой брошюрой и кричал, что футуристы послали в ней к черту замечательных поэтов, в том числе и его, Пяста.

— Я бы не пришел, если б знал!.. Меня заманили!.. Мне только сейчас показали!

Голос у него оказался погромче, чем даже у футуриста. Аудитория редела, гудела, орала, свистела, стучала ногами. Из-за стола выскочили поэты, размахивая руками.

Бодуэн-де-Куртенэ хранил поистине академическое спокойствие. Он величественно восседал в своем председательском кресле — но не как олимпиец, а скорей как главный врач сумасшедшего дома в отделении буйнопомешанных. Он не был неподвижен, как бог. С иронической, немножко скучающей усмешкой на худеньком старческом лице, он махал неслышным звонком и успокоительными жестами левой руки старался навести порядок.

Вдруг шум стал затихать. Что-то случилось неожиданное. Уже не было Пяста (возможно, что футуристы silkом стащили его с трибуны), а на трибуне стоял неизвестный, очень серьезный и очень взволнованный человек. Он начал читать стихи. Но шум еще продолжался, поэты громко ругались. Неизвестный с недоумением оглянулся на них, затем с укором, чуть подавшись вперед и положив руки на кафедру, взглянул в зал своими большими глубокими глазами. И тогда замолкли даже поэты. Стало совершенно тихо.

Бодуэн-де-Куртенэ, слегка повернув седую голову, взглянул на неизвестного, обдумывая, очевидно, к какой категории сумасшедших следует его отнести. А неизвестный читал стихи. Читал с упоением, со страстью. Публика, пораженная, даже ошеломленная этим внезапным поэтическим напором, молча слушала. Может быть, то были плохие сти-

хи, а может быть, и хорошие. Не помню. Да и не так важно это было в ту минуту.

Поражало то, что этот молодой поэт ничего не услышал, ничего не заметил — ни шума, ни криков, ни скандала, он был полон стихов, он был на пределе волнения — первое выступление перед публикой! Ему было не до каких-то там пустяков. Ему, видимо, сказали, что он выступает после Пяста, и вот, увидев, что Пяста уже нет на трибуне, он вышел — вне всего, что происходило, занятый только стихами, взволнованный до глухоты и слепоты ко всему, кроме стихов, и это состояние передалось всем. Он вышел как одержимый — и победил. Победило отношение к стихам, в душевном состоянии неизвестного заключена была подлинная, заразная, покоряющая поэзия. Оно подчеркнуло и окрасило все, что было в том вечере от поэзии — выступления Шкловского, Бурлюка. . .

Из дальнейшего в памяти осталось заключительное слово Бодуэна-де-Куртенэ. Вполне научно, отнюдь не издевательски прозвучало замечание академика, что в исследовании творчества таких поэтов, как футурист-скандалист, нужен не филолог, а психолог, и даже не психолог, а психиатр.

Так я и не узнал, кто такой был неизвестный одержимый стихами поэт. Может быть, потом он стал известным. А может быть, ушел в тень и на старости лет в тысячный раз надоедает детям и внукам своей наскучившей им историей о том, как он в юности писал стихи и какой успех имел, выступив вместе со знаменитыми поэтами и под председательством великого академика. Вполне возможно и то, что он давно забыл об этом эпизоде, и если вспоминает, то с насмешкой и неудовольствием, как о детской шалости.

Не знаю. Больше я никогда не видал его. Пришла война, фронт, казармы. Пришла революция. И я вспомнил неизвест-

ного поэта только в 1920 году, когда я поселился в Доме искусств.

Дом искусств стал не случайным средоточием литературных битв тех начальных лет. Калашниковская биржа, зал которой снимался предприимчивым коммерсантом для прибыльных вечеров, отошла в прошлое. Дом искусств был создан революцией, и здесь господствовало то отношение к искусству, которое звучало в пафосе неизвестного поэта и покорило публику даже Калашниковской биржи. В художественный совет вошли люди, которые без искусства не могли существовать, искусство было воздухом, которым они дышали. Во главе совета стоял Максим Горький.

Еще продолжались бои гражданской войны. Сыпняк, голод, холод косили людей. Глядели черными глазами разрушающиеся здания, и слово «разруха» повторялось на все лады. Город жил в боевом напряжении, но победа молодой Советской Республики была уже ясна, неудержимо росла тяга к культуре, и голодные люди шли в большой холодный зал Дома искусств, чтобы поглядеть, послушать, поучиться.

Горький выступил на первом же вечере, а в январе двадцатого года Алексей Максимович читал здесь свои знаменитые воспоминания о Толстом, в ту пору только что написанные.

«Понедельники» Дома искусств стали известны в городе. Здесь К. И. Чуковский читал свои статьи о Горьком, о Маяковском и Ахматовой, главы из книги о творчестве Некрасова. А. Ф. Кони, стряхнув с себя, как шелуху, звание сенатора и чин действительного тайного советника, взбирался, опираясь на костыли, тяжело хромя, на трибуну, чтобы рассказать о встречах с Тургеневым, Толстым, Достоевским. Здесь я познакомился с Виктором Шкловским, которому, конечно, рассказал, как и где впервые видел и слышал его.

В Доме искусств он с бешеным темпераментом взрывался в своих выступлениях. Воспоминания, лекции все чаще сменялись острыми и резкими дискуссиями.

В июне двадцатого года в переполненном зале читала «Двенадцать» Блока жена поэта Любовь Дмитриевна. Несколько стихотворений прочел сам Блок. Прочел ровным и в то же время предельно выразительным голосом, и лицо его, по видимости неподвижное, почти застывшее, дышало, казалось, всеми страстями и трагедиями эпохи. Два вечера мы слушали Блока. В ноябре выступил со своими стихами Осип Мандельштам. Восьмого декабря Александр Грин прочел только что тогда написанные, ныне прославленные «Алые паруса».

Были и еще писательские вечера, похожие на смотр действующих в литературе сил. Были выставки художников Бенуа, Кустодиева, Добужинского, Петрова-Водкина, Рылова, Замирайло...

Идиллии в отношениях между разными писателями не было никакой. Бывали очень серьезные столкновения. Доходило и до того, что иные не подавали друг другу руки.

Иногда литературные бои принимали и весьма курьезную форму.

Четвертого декабря петроградцы сошлись в Доме искусств на встречу с Владимиром Маяковским.

В ярко освещенном зале гремели «150 миллионов», еще не опубликованные, никому здесь не известные.

Новая поэма Маяковского была встречена бурными овациями.

А в это время группа снобов в угловой комнате устроила спиритический сеанс, этим удивительным способом выражая свой протест против революционного поэта.

Вспоминаю, как я отворил дверь в ту темную комнату,

зажег свет, и возмущенные голоса повергли меня в крайнее недоумение:

— Безобразие! Кошунство! Как вы смеете! Вы вспугнули духа!..

Во втором отделении Маяковский читал свои агитстихи, и это было просто озоном после новоявленных спиритов.

По окончании вечера Маяковского чествовали в узкой компании литераторов, в маленькой комнатке. Пили чай. Больше ничего. Но было нечто более драгоценное, чем еда и вино. Были любовь и признание.

Когда я возвращался к себе, я услышал в комнате, где происходил спиритический сеанс, воркованье снобов — они читали друг другу мертвые стихи. Спорить с Маяковским в открытую они, очевидно, боялись и вот утешали друг друга похвалами и восторгами. Томно ахали какие-то приبلудшие девицы.

Быт Дома искусств создавался особый, своеобразный. В громадной кухне возникали, как в клубе, ожесточенные споры на самые острые темы.

Вот, к примеру, сценка в один из обычных, будничных вечеров. На холодной плите, поджав под себя руки-косточки, сидит сухонький, легонький Аким Львович Волинский, критик, философ, искусствовед, организатор балетной школы, почетный гражданин города Милана (за книгу о Леонардо да Винчи), один из основных деятелей издательства «Всемирная литература». Перед ним яростно размахивает руками частый его гость Миша Корцов, редактор антирелигиозной газеты «Вавилонская башня», сотрудник «Красной газеты» (псевдоним «Милицейское око»). Накинутая на узкие плечи шинель то и дело падает, и Корцов подхватывает ее своими цепкими руками. Маленький, черненький, сгорающий на жарком огне энтузиазма и чахотки, Корцов уничтожает бога, а

идеалист Волынский слушает, чуть склонив голову набок. На пергаментном лице его прорезаны глубокие морщины и борозды, как некие таинственные письма. На этом ссохшемся лице — неподдельная доброта и не очень уверенный скепсис.

В своей черной крылатке, как некая загадочная сумеречная птица, пролетает от двери к двери художник Замирайло, устремляясь к старушке — сестре Врубеля. Входит с чайником в руке Мариэтта Шагинян, и гремучие речи Миши Корцова мгновенно воспаляют ее. Она останавливается по дороге к единственному действующему в доме крану и обрушивается на тех интеллигентов, которые ноют и жалуются, вместо того чтобы бороться вместе с большевиками. Нытиков тут в данный момент нету — но это неважно. Из комнат полуподвального этажа появляется Александр Грин в желтой гимнастерке, туго стянутой поясом, высокий, серьезный. Он слушает, поджав губы, потом хочет взять чайник из рук Шагинян:

— Разрешите, я вам налью?

Детская улыбка показывается на лице Шагинян. Писательница сама наливает воду и спешит к маленькой дочери, которая ждет морковного чая с повидлом.

— Манжакать надо, — говорит почетный гражданин города Милана и хочет прыгнуть с плиты. Но Миша Корцов не пускает. Он еще не успел истребить до конца апостолов и римского папу.

В консерватории из одной комнаты слышна флейта, из другой — рояль, из третьей — виолончель, все этажи звучат, как разом играющие десятки музыкальных табакерок. Все пронизано музыкой, и даже немусыкант, попадая в консерваторию, переходит на какую-то новую удивительную волну, она захватывает его и несет. В Доме искусств этой волной

была поэзия. Все было непередаваемо проникнуто ею, она жила и в прозе, и в разговорах, и в быту. Она изгоняла дух Елисеева, бывшего владельца дома, заражен ею был и единственный из елисеевских слуг, оставшийся в доме, немногоречивый Ефим Егорович, с желтой бородкой на худом лице. Он близко принимал к сердцу интересы новых жильцов, ходил на литературные вечера и выставки картин, не забывая, впрочем, о печках и прочих необходимых в хозяйстве вещах. Он хорошо чинил модные в ту пору «буржуйки» — железные печки с трубой в окно.

Вот он, завершив последний свой обход дома, удаляется к себе. Его шаги смолкают. Тишина. И вдруг в час ночи отворяется дверь моей комнаты, и я слышу сквозь сон: «Я слово позабыл, что я хотел сказать... Слепая ласточка в чертог теней вернется...» Это Осип Мандельштам сочиняет стихи. Исчезает. Проходит то ли минута, то ли час, и вновь он появляется: «В беспамятстве ночная песнь поется...» Моя комната попала, очевидно, в орбиту кругов поэта. Я опять засыпаю. Через какой-то период времени уверенный, окрепший голос Мандельштама вновь будит меня: «А смертным власть дана любить и узнавать!»

Уже под утро Мандельштам присел к столу и записал все стихотворение от начала до конца. Голосом торжественным и певучим, гордо вздергивая подбородок, поэт прочел вслух свое новое произведение. Небольшого роста, худенький, остролицый, преисполненный вдохновения и радости. Оставил листок, промолвив:

— Передайте куда-нибудь, пожалуйста.

Стихотворение это было напечатано в журнале Дома искусств.

На следующий день он, не доспав, мчался по лестнице, торопясь на курсы Балтфлота — читать матросам лекцию.

Дом искусств вообще днем пустел — обитатели расходились по работам и службам.

О том, что поэзия вернулась со служб домой, оповещал обычно громкий, модулирующий голос Пяста: «Грозою дышащий июль!..» С этой же фразы начиналось также и утро, она разносилась, как звон будильника. Всегда одна и та же: «Грозою дышащий июль!..» Пяст прочищал ею горло и настраивал себя на работу. Он, забывшийся мне участник вечера футуристов, оказался теперь тоже жильцом Дома искусств.

Из всех жильцов Дома искусств Мандельштам был самый бесприютный и самый внебытовой. Вспоминаю, как однажды он, получив большое полено хлеба — совершеннейшее сокровище тех времен, выданное ему в Балтфлоте, забежал ко мне и попросил разрешения оставить это богатство у меня на часок-другой, это представившееся мне огромным — не полено, а бревно хлеба. Он оставил и убежал. Я положил его драгоценность за окно и прикрыл номером «Вавилонской башни».

Затем Мандельштам исчез. Несколько дней подряд я испытывал все муки Танта́ла. Я спрашивал о Мандельштаме, но его не было. Его комната пустовала. И вдруг он вбежал ко мне:

— Михаил Леонидович, дайте, пожалуйста, хоть что-нибудь, может быть корку...

Я подскочил к окну, вынул полено хлеба и протянул ему. А он, не давая мне слово сказать, торопился:

— Вы потенциально богатый... Если у вас я сегодня возьму, то уже к вечеру... Мне не нужно так много...

— Это ваш хлеб! Ваш собственный, заработанный! Весь! Целиком ваш! Вы его получили в Балтфлоте и оставили у меня! Я вам возвращаю ваш собственный хлеб!

Редко мне приходилось видеть столь изумленного человека, каким был в тот момент Осип Манделштам. Он обо всем забыл.

Он любил матросов Балтфлота, и матросы Балтфлота любили его.

В дни кронштадтского мятежа он, встретившись со мной, схватил меня за локоть:

— Они не придут? Они не могут, не должны прийти! Они не придут!

Он весь дрожал от возбуждения. Он горел, заклинал, верил, этот поэт, впоследствии оклеветанный и погибший.

«Они», белогвардейцы, не пришли. Конечно, не пришли. Матросы Балтфлота сказали им свое весьма увесистое и грохочущее слово.

## 2

При Доме искусств работала литературная студия, которой руководил К. И. Чуковский. Опытные писатели вели в ней занятия. Молодежь обучалась здесь литературной грамоте, здесь писались стихи и рассказы, молодые знакомились со стариками, а старики — с молодыми.

Вот тут, в Доме искусств, и образовалась одна из первых ячеек советской литературы.

Была строгая закономерность в том, что советская молодежь, желавшая работать в литературе, тянулась к Горькому. Имена Горького и близких к Горькому писателей привлекали молодых, начинающих писателей в Дом искусств. Здесь то новое, что несла в себе молодежь, встречалось с интересом, радушно, находило помощь, поддержку. Здесь на молодых надеялись, здесь молодых любили, а глагол «лю-

бить» — очень емкий, в данном случае он означал веру старших в то, что молодые двинут литературное дело вперед.

Проходя мимо одной из отдаленных комнат нижнего этажа, куда ход вел через кухню, можно было иногда услышать доносившийся оттуда голос: «Праздничный, веселый, бесноватый...» Значит, пришел и ходит там из угла в угол красноармеец Николай Тихонов, шлифуя сочиненные в ночном карауле стихи. В студии появлялся невысокого роста брюнет в полувоенном костюме, с палочкой, на которую слегка опирался. Романтическая фигура — участник двух войн, бывший адъютант первого полка Деревенской Бедноты, отравленный газами, контуженный Михаил Зоценко, к тому времени служащий военного порта. Говорили, что он очень талантлив, что его хвалит сам Чуковский. Размашистый, речистый Николай Никитин, тоже студист, в зеленой гимнастерке, кипел стихийными страстями и в том, что он писал, и в том, что говорил. Была среди начинающих врач Елизавета Полонская, которую признавали как поэтессу, а о том, что она врач, и не догадывались. Жил в Доме искусств семнадцатилетний Лев Лунц, романо-германист, филолог, которого в университете считали будущим ученым, а в Доме искусств видели в нем будущего литератора — драматурга и прозаика.

С теми молодыми, которые шли к Алексею Максимовичу из Дома искусств, соединялись и другие начинающие писатели.

Как-то в двадцатом году на квартире Горького на Кронверкском шел разговор об организации нового журнала, и А. Н. Тихонов-Серебров сказал:

— Есть молодой писатель Федин. Надо его найти и привлечь.

Вскоре после того машинистка издательства, в котором я работал, предупредила:

— Сегодня к Алексею Максимовичу придет один сотрудник «Правды». Его фамилия Федин, и он пишет рассказы. Алексей Максимович читал один его рассказ.

Пришел высокий блондин в солдатской шинели с большими красивыми глазами на исхудалом лице.

Выйдя от Алексея Максимовича, Федин повторял в чрезвычайном волнении:

— Горький сказал мне, что я буду писателем!

У стариков были свои дьявольские счеты с Горьким, мы же прямо и без сомнений шли к нему, видя в нем своего главного учителя в литературном деле.

Федин стал захаживать в Дом искусств. Он жадно и страстно всматривался в жизнь и в людей, готовый на дружбу и на бой.

Был среди молодых критик Илья Груздев, друживший уже с некоторыми из близких Горькому молодых.

Шкловский привел и познакомил с нами В. Каверина, совсем тогда еще юного.

Так постепенно подобралась, отсеялась из множества молодых группа тянувшихся к Горькому начинающих писателей. Объединяла нас родившая нас эпоха, отчаянная любовь к литературе, стремление, ломая инерцию дореволюционной беллетристики, выразить в слове все испытанное и виденное в годы войн и революции. Жизненный опыт почти у всех был не по возрасту велик. Для того чтобы передать этот совершенно новый опыт, не влезавший никак в старые рамки и схемки, надо было иметь литературное мастерство, которого у нас не было. И мы, естественно, шли к Горькому, к старшим.

Требовалась большая вера в будущее, чтобы в учениче-

ских рукописях двадцатого года увидеть будущих советских писателей. Горький увидел их и с огромным увлечением принялся помогать. Он направил в нашу группу Всеволода Иванова, очень похвалив его.

Мы решили читать друг другу свои рассказы и стихи и 1 февраля 1921 года впервые сошлись для этого у меня в комнате. С той поры мы собирались еженедельно, читали друг другу новые свои вещи, хвалили, ругались, спорили.

Рукописи свои мы давали Горькому.

Членами нашего кружка, или общества, были прозаики К. Федин, М. Зощенко, Вс. Иванов, Н. Никитин, В. Каверин, Л. Лунц и я, поэты Н. Тихонов и Е. Полонская, критик И. Груздев.

Однажды Алексей Максимович прислал мне записку, в которой выражал желание собрать у себя всех нас для разговора об альманахе.

Когда я зашел к Горькому на дом условиться о дне встречи, он осведомился:

— Хлеб у вас есть?

— Получаем по карточкам, — ответил я.

— А мука?

— Муки нету, — сознался я.

— Масла тоже нету?

— Тоже нету.

Он выдвинул ящик письменного стола и вынул аккуратно запакованный в восковую бумагу большой кусок масла — в нем было не меньше двух кило.

— Вот вам на всю братию, — промолвил он. — Со следующего месяца вы будете получать ученый паек, а муку заберите завтра же вот по этой записке.

Ученый паек имели только профессиональные писатели.

Это был серьезный аванс для молодых людей, едва вступающих на литературный путь.

Мы ничего не просили в этом роде у Алексея Максимо- вича, мы только передавали ему свои рукописи на чтение. Но Алексей Максимович прекрасно знал, что голод — плохой помощник в работе, и делал все, что мог, чтобы мы не голодали. Таков уж был его обычай.

— Надо бы придумать вам марку, — сказал затем Алек- сей Максимович, усмехаясь. — Назваться надо как-нибудь. . .

В сущности, совершенно случайно назвали мы «Серапио- ными братьями» — просто книга Гофмана лежала на столе во время одного из собраний, и вот название ее приклеилось к нам. Было только внешнее сходство — герои Гофмана тоже рассказывали друг другу разные истории. Мы счи- тали это название временным, но так уж оно и закрепил- ось.

Узнав о нашем гофмановском названии, Алексей Макси- мович промолчал, мнения своего не выразил. Но потом и сам стал называть нас серапионами.

Настроения у нас были романтические. Была идея делить гонорары (если таковые будут) и пищу поровну, как в ком- муне.

В Доме искусств центр явственно перемещался от ста- рых и маститых к молодым. Были и совсем юные — шестна- дцатилетние Николай Чуковский и парижанин Владимир Познер, тогда живший в Петрограде, ныне известный фран- цузский писатель-коммунист. Были девушки, преданные искус- ству, среди них — душа Дома искусств Марья Сергеевна Алонкина, или, попросту, Муся Алонкина, семнадцатилет- няя энтузиастка рождающейся советской литературы. Она с четырнадцати лет работала в Петрокоммуне, а затем — такие повороты были тогда часты — стала секретаршей

Дома искусств. Владимир Познер посвятил ей такие стихи:

На лестнице, на кухне, на балконе  
Поклонников твоих, Мария, ряд.  
Лев Дейч, Альберт Бенуа, Волынский, Кони —  
Тысячелетия у ног твоих лежат.  
А ты всегда с бумагами, за делом,  
И если посмотреть со стороны,  
Ты кажешься, о Мусенька, отделом  
Охраны памятников старины.

Муся Алонкина вышла замуж за чешского коммуниста и в тридцатые годы умерла от туберкулеза. Ей посвящен был в 1922 году наш первый альманах.

То было очень молодое время. Советская литература переживала тогда своеобразный *Sturm und Drang*.

Невероятными темпами шел рост литературы. Чуть ли не каждый день приносил новое имя и новое — конечно, «замечательное» — произведение. Новые, неизвестные до того имена писателей доносились к нам из Москвы, из Сибири, со всех концов страны. И чем неизвестней было имя, тем больше возбуждало оно надежд.

В этом бурном и молодом потоке старые, заслуженные писатели, сдружившиеся с нами, такие, как Ольга Форш, М. Шагинян и другие, тоже числились молодыми и начинающими и нисколько не обижались на это.

Но, может быть, моложе всех был Алексей Максимович Горький. Его увлечение советской литературой выражалось в формах необыкновенных.

— Они пишут гораздо лучше меня, — сказал он, напромер, однажды, и это было уже просто страшно.

Никогда в истории всех литератур не случалось так, чтобы общепризнанный мировой писатель, классик, с такой

уверенностью и надеждой строил молодую литературу, неудержимо и обаятельно восхищаясь неоперившимися пенцами.

Его любовь и забота согрели нас и оставили в душе неизгладимое чувство благодарности.

Алексей Максимович заботился обо всем — и о нашей пище, и о нашей одежде, и о наших рукописях.

Он был болен и собирался для лечения за границу. Но и оттуда он продолжал заботиться о нас. Из Берлина он тотчас же по приезде прислал нам костюмы и сапоги. Полонской достались тоже мужские сапоги.

Вот отрывки из писем его ко мне 1921—1923 годов:

«..Держитесь ближе, крепче, и вы явитесь магнитом, который привлечет к себе все наиболее значительное...»

«..Крайне необходимо, чтобы все вы как можно скорее и крепко встали на ноги, — не голодали бы, не хворали...»

«..Очень беспокояно думается о всех вас...»

И так далее, и так далее.

Он называл дружбу молодых советских писателей «оригинальным и небывалым в русской литературе явлением» и писал:

«...Как хочется, чтобы эта внутренняя связь все крепче связывала бы вас. Только вот на таком чувстве глубокой дружбы и взаимопомощи возможна плодотворная работа без ущерба для индивидуальности каждого из вас...»

Он организовывал переводы советской прозы на иностранные языки, писал о новой литературе, и письма его того времени полны самых нежных фраз. Вот слова, которые адресовал он молодой советской литературе, быстро и бурно растущей по всей стране:

«...Вы начинаете новую полосу в развитии литературы русской...»

«Слежу за вами с трепетом и радостью. Будьте здоровы, живите дружно...»

Между тем жизнь меняла свои формы. Переход от суровых и романтических лет гражданской войны к нэпу резко, зримо изменил весь облик жизни. Часть помещения Дома искусств была отдана под ресторан, название которого было «Шквал». То был действительно шквал — бурный, пьяный, крепко посоленный первым годом нэпа.

Дом искусств кончал свое существование. Население его разъезжалось и расходилось кто куда.

Но связь между молодыми, скрепленная Горьким, не порывалась. Мы продолжали собираться еженедельно и читали друг другу свои новые вещи, и письма Алексея Максимовича, получаемые нами, оглашались на собраниях.

Из-за границы Алексей Максимович продолжал давать советы, ни на миг не оставляя нас без внимания и заботы своей.

О Европе он так рассказывал в одном из писем ко мне:

«Здесь приглашают возвратиться к мироощущению халдейских пастухов. Вообразить не мог, что доживу до такой глубокой духовной реакции, до проповеди такого угнетения человека догмами, какое наблюдается здесь!..»

И тут же:

«Гг. эмигранты на публичных собраниях провозглашают здравицу Чингисхану и бьют женщин по лицу, как это было в Париже... И вообще — дико, безумно, болезненно».

Это письмо ко мне, отправленное 31 марта 1925 года, заканчивается словами, полными глубокого пафоса:

«Я нахожу, что никогда еще русский литератор не стоял в такой трудной позиции. Героическая позиция. Такой ее признает история».

Конечно, Алексей Максимович не только хвалил молодых советских писателей и восхищался ими. Весьма часто он сердился и упрекал. Памятен его красный карандаш на рукописях, памятно его недовольное постукивание пальцами по столу.

Не раз предостерегал он молодых писателей от всякого рода ошибок. Еще в первые годы советской литературы он хотел, например, уберечь нас от увлечения формальным методом. Вот характерные в этом смысле выписки из его писем ко мне:

«Я знаю, что в молодости человека весьма беспокоит зуд творчества различных законов и что всегда это приводит законоположников к дидактике и другим грехам против духа искусства. И уж если законотворчество одолевает непобедимо, так следует придавать этим законам или — точнее — издавать законы в художественной форме, оставляя за собою право иронического отношения к собственному законотворчеству...»

В мае 1925 года он писал в одном из писем ко мне еще яснее:

«Когда писатель работает над своим материалом, то его — изредка, скажем, — смущает мысль, как бы не ошибиться, не согрешить против метода. При этом забывается, что литературные идеи и формы, школы и течения создаются самими художниками — Флоберами, Чеховыми и т. д. ... Вы предоставьте ученым-филологам создавать науку о литературе, как они обещают и грозят, а себе предоставьте свободу не считаться с ними...»

Уже в августе 1922 года он упрекал некоторых из нас за погрешности в языке и указывал путь, каким следует идти.

«Техника, которой вы обладаете, — писал он, — задачи, которые вы ставите перед собою, — неизбежно и настоятельно требуют большего богатства слов, большего обилия и разнообразия их. Не следует, конечно, пускаться на фокусы, не нужно «сочинять» слова, — но язык наш достаточно гибок и богат — следует глубже всмотреться в него...»

Алексей Максимович не был неизменен в своих отношениях к отдельным писателям, да и вообще к людям.

Вчера он, например, очень любил такого-то писателя, а сегодня он встречает его хмуро и неприветливо. Что случилось? Случилось то, что вчера вечером Алексей Максимович прочел новую вещь этого писателя, и оказалось, что после хорошей повести писатель написал плохую, неряшливую, развязную, самоуверенную. Подробно и внимательно объяснял Алексей Максимович, почему и чем плоха эта вещь.

От его оценки работы зависели и обращения его в письмах. Вот в ответ на рукопись или книгу приходит письмо, которое начинается с нежного «милый мой», — значит, Алексей Максимович доволен работой. Но вот вместо обращения сухо поставлены только начальные буквы имени и отчества, — это значит, что Алексею Максимовичу не понравилась последняя вещь.

Алексей Максимович очень откровенно реагировал на работу того или иного писателя. Он знал, что люди меняются, что если плохой работник мог стать хорошим, то и хороший работник может стать плохим. И он не допускал успокоения. Сам он был всегда в движении, всегда в поисках, в стремлении вперед.

Это был великий работник. И людей он ценил по их работе.

Он преклонялся перед трудом человеческим, перед твор-

ческими силами человека и ненавидел лень, стремление к покою.

Никому не давал он «почить на лаврах». Казалось, что, заподозрив «маститого» в том, что тот почил на лаврах, Алексей Максимович испытывал озорное желание сдернуть его с этого мягкого и удобного ложа.

Он требовал деятельности, творчества на благо людей — работы радостной и непрерывной.

#### 4

Среди старших писателей, любимых многими молодыми, были Бунин, которого ни разу не привелось мне видеть, и Куприн. Имя Куприна запомнилось с отроческих лет.

В годы реакции, после поражения революции пятого года, был объявлен «конец Горького». Расцветала беллетристика, напичканная всякими модными проблемами, из коих едва ли не главной почитался «половой вопрос», иногда же просто безличная, но с этакой многозначительной задумчивостью. Литературные дельцы, уловившие, так сказать, «дух времени», изготавливали общедоступное варево из всех «проклятых» вопросов сразу и продавали по сходной цене на всех литературных перекрестках. Едва оперившиеся юнцы искали «озарений» и «бездн» в публичных домах и «кружках самоубийц».

Не так-то легко было в те далекие времена, пятьдесят с лишним лет тому назад, мальчишке найти в этой неразберихе хорошую книгу. А дурная книга зазывала в рекламах, в диспутах, в разговорах. Спасибо, что «Сатирикон» сам шел в руки на каждом углу, — он был, во всяком случае, остроумен. Аверченко, Тэффи, Саша Черный с азартом читались всеми возрастами. Тут же, на углах, подростки хватили, впро-

чем, и «Ната Пинкертон» и «Ника Картера» в кровавых обложках.

В четвертой классической Ларинской гимназии, где я учился, литература под эгидой директора А. А. Мухина, человека культурного, была в почете. Мухин, приходя в класс, читал нам произведения современных писателей, даже Горького, что по тем временам было очень смело. Однажды прочел очерк Брюсова о Гоголе так хорошо, что он врезался в память.

Мне было лет пятнадцать, когда восьмиклассники почти меня приглашением в организуемый ими литературный кружок. На первом собрании читал свои рассказы сам организатор кружка — высокий, мрачный, черноволосый юноша, сын известного педагога Острогорского, наш гимназический Лермонтов. Какие-то смутные отрывки, наброски, жалобы, что кто-то лезет в душу в галошах, проститутки, тоска — живое от сердца и мертвое от «модной» беллетристики.

Товарищ Острогорского, будущий композитор и профессор Ленинградской консерватории Арсений Гладковский, в ту пору солидного вида гимназист в пенсне со шнурком, с мягким доброжелательством отозвался о рассказах приятеля. Автор сидел, хмуро опустив большую, тяжелую голову, и глядел себе под ноги. Мы почтительно молчали, посматривая на живого писателя в гимназической куртке.

Вскоре в газете «Речь» появилось объявление о выходе книги Острогорского («издание автора»). Деньги у меня водились — я работал репетитором, «тянул оболтусов», как тогда выражались, поэтому я мог купить книгу, прочел ее с жадностью и особенно запомнил курсивом выделенные автором слова о том, что жить надо не просто так, а «для чего-то». Только неизвестно, для чего. А еще через некоторое

время собрания литературного кружка прекратились, потому что Острогорский покончил с собой, о чем тоже сообщалось в газетах. Он сел в теплую ванну и, как древний римлянин, вскрыл себе вены. Для этого жить не стоило.

Гораздо позже, в двадцатые годы, Александр Грин, рассказывая мне о нравах петербургского ресторана «Вена», где собирались литераторы и артисты, вспомнил вдруг об Острогорском:

— Был такой мрачный гимназист. Приходит, подсаживается к столу, сидит и молчит. О чем ни спросишь — ответит односложно и опять молчит. А потом вдруг взял да зарезался. Бродили тогда такие гимназисты по Петербургу... Куприн очень его жалел, — добавил Грин. — Все хотел как-то помочь...

Куприн... Мне, может быть, и десяти лет не было, когда донеслось до меня это знаменитое имя. Но полюбил я Куприна позже. Однажды довелось мне прочесть «Ночлег». Этим небольшим, непрославленным рассказом Куприн вдруг вошел в душу, стал в ряд тех, кого любили не по указке, не с холодным, официальным, как богслужение, славословием, не с расчетливой лестью, а по неудержимому душевному влечению.

«Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша, здравствуй, милая моя...» — эта веселая песня, которой заканчивается «Ночлег», прозвучала такой мучительной болью, какая надолго врезывается в сердце.

Некий поручик Авиллов невзначай в юности искалечил жизнь другому человеку, и вот, спустя несколько лет, столкнулся со сломанной, исковерканной им человеческой судьбой. Только что он витал в сентиментально-выспренних, тщеславных мечтах, и его как сдернуло с заоблачных высей на грешную землю, где он попросту ничтожный подлец, не-

годай, походя губивший ни в чем не повинных, хороших людей. Дребезжат и катятся по земле ведра, которые уронила узнавшая поручика женщина, жертва его преступления. И он, маленький, нечистый человечек, сам искалеченный жизнью, людьми, временем, идет мимо нее, трусливо съжившись, приподняв вверх плечи, «точно ожидая удара». А вокруг здоровые солдатские голоса орут веселую песню «с гиканьем, визгом и пронзительным свистом»: «Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша...» Беспощадно, страшно, вырвано с мясом и кровью из самых недр жизни.

Вслед за «Ночлегом» резанули с той же силой незначительные в ту пору «Мелюзга», «Попрыгунья-стрекоча», «Мирное житье», «Река жизни», знаменитые «Гамбринус», «Молох», «Поединок»... Но незаметный «Ночлег» долго оставался как ключ, открывающий в каждом купринском произведении самое главное. Столь целебные по тем временам любовь к жизни, любовь и действенная жалость к людям, а отсюда горькое обличение всех уродств — вот что открылось мне в вещах Куприна после «Ночлега».

Озираясь, я видел, что ведь живу-то я среди купринских персонажей, их сколько угодно и здесь, на бесконечных линиях Васильевского острова, в Гавани, в Румянцевском сквере, на Среднем и Малом проспектах. Явился Куприн и показал их такими, какие они есть. А вывод делай сам. И вывод достаточно ясен, если читать умеючи не только такие рассказы, как «Собачье счастье», где уже все сказано до конца.

В январе 1915 года я пошел на фронт. Фронт первой мировой войны был своеобразным университетом для юнцов моего поколения. Реальность войны отменяла всякую накипь ложного патриотизма.

Однажды в какой-то залетевшей на фронт газете я прочел интервью с Куприным. На вопрос, не собирается ли он

писать о войне художественное произведение, писатель ответил, что нет, не будет, и добавил, что напишут о войне те, кто участвует в ней, кто сидит сейчас в окопах. А он, Куприн, не на фронте, а в тылу. В отвратительно фальшивый хор якобы «патриотической» литературы ворвался голос честного, большого писателя и человека. Было радостно услышать этот голос.

К зиме пятнадцатого года я получил кратковременный отпуск в Петроград для лечения. Как раз в цирке Чинизелли был объявлен во славу войны этакий «парад-алле» с участием писателей и артистов. Имя Куприна обозначено было на афише особенно крупными буквами. Переодевшись в штатское, я пошел в цирк.

Куприн не выступил. То, что он приготовил для этого вечера, было прочитано каким-то артистом. Не могу передать, что это было такое, — нечто очень торжественное, вычурное, совсем чуждое тому Куприну, которого читали и любили, но — увы! — близкое тому, что господствовало во многих тогдашних статьях и корреспонденциях. Аплодисменты и даже овации принимал не Куприн, а чтец, толстый человек в каком-то черном сюртуке, может быть даже во фраке, с багровым лицом — видимо, от стянувшего шею воротничка кровь ударила в голову. Какое-то подставное лицо. Какая-то не купринская рукопись. Не писал, не мог написать Куприн то, что было прочитано. Обман!..

В моей душе остался в неприкосновенности тот Куприн, который жил в его книгах, и это было хорошо.

Только в девятнадцатом году я впервые увидел Куприна вблизи. Это случилось в издательстве, которым руководил Горький. Куприн принес очерк для сборника, который предположено было выпустить к пятидесятилетнему юбилею Алексея Максимовича.

Оказался Куприн именно таким, каким и должен был быть автор «Ночлега», «Мелюзги», «Поединка», «Молоха», «Олеси»... Доброе, усталое, осунувшееся лицо в мягких усах и бородке, черная шелковая русская рубашка под легким пиджаком, свободная поза отдыхающего после трудов человека. Он сидел в кабинете Алексея Максимовича у стола, тихий, спокойный, немногословный, и от него веяло ласковой и просторной силой. Алексей Максимович улыбался ему, они обменивались малозначащими словами, как старые знакомые и друзья, и в паузах не чувствовалось ни напряжения, ни даже недоговоренности. Они и молчали так, словно говорили о чем-то очень важном.

Очерк Куприна не был опубликован, потому что вся книга по просьбе Алексея Максимовича была отменена. Помню я этот очерк очень смутно. В нем на двух-трех страничках говорилось о пути Горького, как о подъеме мальчика из самых низов народных на вершину высочайшей горы, откуда он всем виден и весь мир виден ему.

Вскоре после этой встречи пришли трудные дни. Войска Юденича подступили к самым воротам Петрограда. В числе других пригородов была захвачена белогвардейцами и Гатчина, где жил Куприн. Когда разгромленные Красной Армией, питерскими рабочими белогвардейские банды покатались на Запад, оказалось, что в Гатчине нет Куприна. Как это могло случиться?.. Жив ли он? Не убит ли?.. Нет, Куприн жив. Он ушел. Тот самый Куприн в черной шелковой рубашке, добрый, любящий Горького, ушел с белогвардейцами. Ушел от своих книг, от чувств и мыслей, насыщающих лучшие его произведения, от своих героев, от живой жизни, от самого себя... И мне казалось, что ушел не Куприн, который сидел тут перед Алексеем Максимовичем, любил людей и жизнь, писал книги, а тот чтец, который выступал в цирке

Чинизелли, — закупоренный в черное, с багровым лицом, с зажатой в тугой крахмальный воротничок толстой шеей. Даже не так. Тот черный человек схватил Куприна и силком потащил его за собой. Куприн не хотел, он упирался, вырывался, но черный человек осилил... Вот что выделявало воображение, вот как выплясывала фантазия, когда я старался постичь, как это так Куприн ушел с белогвардейцами, с ужасными персонажами из «Поединка», которых он сам обличал во всех грехах... И я верил рассказу одного гатчинского жителя, который утверждал, что к Куприну ворвались офицеры, силком напялили на него гвардейский мундир и увезли, как пленника. Я верю этому рассказу по сей день.

В двадцатые годы в каком-то журнальчике появились гневные стихи об эмигрантах. Заканчивались же они так: «Но Александра Куприна и до сих пор до слез нам жалко!..» Автора стихов строжайше «проработали» за эту жалость к эмигранту Куприну. Но была в стихах правда. Непонятно и противоестественно было, что Куприн — в эмиграции. Александр Грин говорил мне:

— Мне все кажется, что вот войдет сейчас Куприн и скажет: «Здравствуй, старик»...

Куприн ушел, но книги его остались, они издавались и переиздавались у нас, народ продолжал помнить и любить Куприна.

Он вернулся. Он вернулся больной, старый, и встречен был с нежной заботой.

Так шла жизнь, что я оказался в комиссии по похоронам выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна. Имя Куприна действовало само и созывало людей. Лучшие музыканты прощались с Куприным музыкой Баха, Генделя, Гайдна, Бетховена, Шопена, Чайковского. Писатели, старые и молодые, артисты, художники — все люди ис-

куства сошлись у гроба, явились толпы читателей. Процессия растянулась на много кварталов. У могилы Константин Федин сказал последнее сердечное слово Куприну.

А в гробу лежал худенький человек с кротким, умиротворенным лицом, и при взгляде на него вспоминался герой «Гранатового браслета», однолюб и мечтатель.

## 5

Имя Горького с ранних лет было для меня как бы свидетельством нужности, полезности, значительности всякого дела, в котором он участвовал.

Сотрудники журнала «Летопись», руководимого Горьким, вызывали у меня особое уважение. Такое чувство, например, испытывал я к В. Я. Шишкову, роман которого «Тайга» печатался в «Летописи».

С Шишковым мне привелось часто встречаться в жизни. В литературную свою работу В. Я. Шишков вложил упрямую волю и терпеливую настойчивость участника многих походов по сибирской тайге, исследователя диких сибирских рек, борца со штормами и буранами, просветителя дальних жителей нашей страны. В годы гражданской войны он был уже не в Сибири, а в Петрограде. Вышедший из самых недр народных, он принадлежал к тем «старикам», которые всем сердцем приняли революцию.

В книгах Шишкова бурлит, бушует, раскрывается во многих своих проявлениях народная жизнь, его герои выхвачены из самой глубины, вылеплены рукой суровой и благодетельной, правдивой и сильной. Но читателю не видна эта авторская рука за широкими, яркими, то трагическими, то насыщенными юмором картинами страстей и судеб человеческих.

Любимые герои Шишкова богатырски борются со злой силой рабства и угнетения. Автор же всех этих произведений, полных буйства и борьбы, в контраст с этими бурями в своих книгах, был тих, скромен, сдержан, отзывчив, но неуступчив в вопросах принципиальных. Эта неуступчивость напоминала людям, что перед ними отнюдь не мягкотелый человек. Вспоминалось, что этот человек в черной шляпе и черном пальто, похожий на сельского учителя, водил людей в опасные походы и не сгибался перед грозами жизни и природы.

Шишков из всего своего жизненного опыта вынес удивительно доброе отношение к людям. С большим вниманием он приглядывался, присматривался к новым поколениям писателей, легко вступал в знакомство и товарищество. Пристально он изучал жизнь и людей и, опытный путешественник, то и дело пускался в странствия. Однажды (это было в двадцатые годы) он надел котомку и отправился в пеший поход, чтобы как следует увидеть перемены в жизни, перемены в людях. Часто принимал он неожиданных и странных гостей. Когда он писал свою книгу «Странники», его посетителями были беспризорники, почуявшие в этом дяде с бодрой добротой и сильным другом.

Обиды и уколы критики Шишков сносил без лишних слов, а иногда даже чересчур доверчиво относился к критическим замечаниям. Как-то уже в тридцатые годы он, прочтя недоброжелательный отзыв об одном своем рассказе, напечатанном в ленинградском журнале «Звезда», обратился к нам:

— Что же вы вовремя не предупредили меня, что рассказ-то плох?

Один только раз я видел, как критический отзыв по-настоящему, до болезни взволновал Вячеслава Яковлевича.

После опубликования первой части «Пугачева» появилась разносная статья, где Шишков обвинялся в нелюбви к русскому народу. Шишков впервые в жизни начал протестовать, написал заявление. Помнится, он писал, что в романе есть, может быть, недостатки, но только не тот, в каком его обвинил критик. Не может быть у него, Вячеслава Шишкова, нелюбви к русскому народу. Сколько нервов стоила писателю эта история!..

В 1939 году мы вместе ездили по Украине. Шестидесятилетний Вячеслав Шишков проявлял спокойную выносливость во всех путешествиях, которые совершались им с гораздо более молодыми спутниками.

Стойко работал он в тягчайших условиях ленинградской блокады, а с сорок второго года — в Москве. Его номер в гостинице «Москва» был освещен тем же доброжелательным гостеприимством, что и его комнаты в Пушкине, где он жил в довоенное время. Друзья и знакомые, наезжавшие в Москву с разных концов, находили в этом новом «доме» Шишкова уют, теплую ванну, даже драгоценную по тем временам пищу, которой Вячеслав Яковлевич делился с гостями по-братски.

Смерть Шишкова поразила необычайной своей неожиданностью. Казалось, еще так недавно я видел Шишкова гуляющим по улицам с папиросой в пальцах. Он был весел, улыбался, радовался победам на фронтах...

В годы гражданской войны и рождения советской литературы Шишков естественно и просто дружил с молодыми. Ни одного злого слова не помню от него. Он принимал участие во всех наших начинаниях.

А круг молодых ширился и рос.

Приехал в самом начале двадцатых годов из Ташкента молодой, горячий Лавренев. Первые рассказы его, собранные

в книге «Ветер», произвели эффект в Петрограде. Характерный для того времени романтический тон и сюжетная острота его произведений прились нам очень по душе.

Появились первые вещи Михаила Козакова, тогда еще только замышлявшего свои «Девять точек», впоследствии переработанные им в известный роман «Крушение империи».

К 1924 году прибыл к нам широкоплечий, с виду очень сильный человек с большим румяным лицом, по фамилии Голиков, по имени Аркадий. В его ясных, всегда широко открытых глазах выражение дружелюбной горячности и некоторого простодушия сменялось гневом, когда он сталкивался с подлостью или только слышал о какой-нибудь мерзости. Ходил он в военной гимнастерке. Ему едва исполнилось двадцать лет, а жизненный опыт его был громаден. Шестнадцатилетним юношей он уже сражался против белогвардейцев, много довелось ему испытать и видеть.

Он привез нам повесть о гражданской войне «В дни поражений и побед».

К тому времени мы уже состояли в редакциях. В только что основанном журнале «Звезда» работал К. Федин, до того редактировавший журнал «Книга и революция». Александр Лебеденко, в ту пору начинающий прозаик и ответственный секретарь «Ленинградской правды», привлек меня в редакцию журнала «Ленинград». Нам вместе с друзьями нашими из числа пролетарских писателей прозаиком Сергеем Семеновым и поэтом Ильей Садофьевым удалось организовать в Госиздате издание альманахов «Ковш». Вот в этот «Ковш» мы и решили взять повесть Голикова, и она была напечатана там в 1925 году.

Для дальнейших своих произведений молодой автор избрал псевдоним «Аркадий Гайдар». Да, тот молодой, румяный юноша был Аркадий Гайдар. Он был только с виду здоро-

вый. Отец Евгения Шварца, врач, гостивший тогда в Ленинграде, как-то зашел ко мне и встретил у меня Гайдара. Когда Гайдар ушел, он сказал:

— Не верьте его румянцу. Он больной человек.

Действительно, на здоровье Гайдара сильно сказывалась полученная им на фронте контузия.

Мы редактировали рукопись Гайдара, а он при встречах часто рассказывал нам разные случаи из жизни. Один боевой эпизод произвел на нас такое впечатление, что я не выдержал:

— Надо его вставить в повесть!

Гайдар возразил:

— Нет, это нельзя. Я в том бою не участвовал, это произошло в двенадцати верстах от моего полка.

В этих словах его сказалось еще весьма наивное представление о художественном творчестве — «чего не видел своими глазами, о том и писать нельзя». Но в то же время в этом его заявлении, которое вызвало у нас тогда горячие возражения, выразилось предельно чистое стремление к правде в жизни и в творчестве, и оно, когда Гайдар дал волю своей богатой художественной фантазии, получило верное, полноценное воплощение в его произведениях.

Было у нас чувство общности во всех делах. Помню, как Федин перенес тяжелую операцию кишечной язвы. Когда я был после этого в Москве, Леонид Леонов спрашивал меня:

— Как фединское брюхо? Зажило? Ведь это наше брюхо!

Вот такое было ощущение — «наше»!

Встреча с каждым новым талантом была радостью. Однажды А. Н. Серебров-Тихонов, приехав из Москвы, с таинственным видом вынул из портфеля несколько скрепленных страниц и проговорил:

— А ну-ка догадайтесь, кто написал?

И он прочёл отточенный, остро талантливый рассказ Бабеля «Соль».

Затем сказал:

— Бабель привез целый чемодан таких рассказов.

Первые рассказы Бабеля были напечатаны еще до революции в журнале «Летопись» Горьким. Конечно, Горьким. Было просто удивительно, скольких талантливых писателей ввел в литературу Горький. Пожалуй, другого такого примера не найти во всей мировой литературе.

Самые разные писатели находили поддержку Горького. Уж на что непохожи были друг на друга, как писатели, Шишков и Бабель, но обоих Горький взял в «Летопись». Только было бы талантливо и человечно. А что каждый пишет в свойственной ему форме — это очень хорошо. Не надо быть похожими друг на друга. Не раз Алексей Максимович предостерегал нас от этой дурной «похожести». Он всей душой любил разнообразие и многоцветность жизни, а следовательно, и разнообразие и многоцветность литературы.

Горький, автор «Рождения человека», был отцом и внимательнейшим восприемником советской художественной литературы.

А советская литература шла в гору. В 1926 году Сергей Миронович Киров возглавил ленинградскую партийную организацию, и плодотворные изменения произошли в литературной жизни Ленинграда. Во главе тогдашнего крупного издательства «Прибой» встал Михаил Алексеевич Сергеев, старый большевик, человек большой культуры, тонкий ценитель литературы. В «Прибое», а затем и во вновь организованном нами Издательстве писателей в Ленинграде он очень много сделал для советской литературы, для советских писателей. Конечно, он был связан с Горьким еще до прихода в «Прибой».

Горький все годы внимательнейшим образом следил за работой нашей и стремился помочь в ней.

Вот выдержка из письма его ко мне от 1 июня 1935 года:  
«... Писать о героях революции нужно языком эпическим, просто, даже сурово, избегая всяких украшений — писать так, как ваятели Греции изображали тела героев и богов. Основное качество героя нашей революционной эпохи — актуальность, деятельность. Нам более или менее известно, что и о чем они говорят, и нам нужно пытаться изобразить, как они говорят. Их слово равносильно делу, — в сущности оно и есть дело, — а поэтому важно показать, как оно действует на людей, как влияет на них. Это возможно изобразить только словами эпической простоты...»

Так понимал он героев революции.

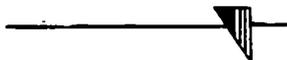
Героем революции был и он сам, великий пролетарский писатель, неутомимый и страстный строитель социализма, нежный и суровый учитель советских писателей.

Когда в 1928 году Алексей Максимович вернулся на родину, которой так ревностно служил и в годы лечения за границей, прием его превратился во всенародное торжество.

*1961—1964*



АЛЕКСАНДР  
ГРИН  
РЕАЛЬНЫЙ  
И  
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ



**Э**то был очень высокий человек в выцветшей желтой гимнастерке, стянутой поясом, и черных штанах, сунутых в высокие сапоги. Широкие плечи его чуть сутулились. Во всех движениях его большого тела проявлялась сдержанность уверенной в себе силы. Резким и крупным чертам длинного лица его придавал особое, необычное выражение сумрачный взгляд суровых, очень серьезных, неулыбавшихся глаз. Высокий лоб его изрезан был морщинами, землистый цвет осунувшихся, плохо выбритых щек говорил о недоедании и только что перене-

сенной тяжелой болезни, но губы были сжаты с чопорной и упрямой строгостью несдающегося человека. Нос у него был большой и неровный.

Отворив дверь, человек этот остановился на пороге.

Алексей Максимович Горький, приподнявшись, протянул руку ему и сказал:

— Прощу!

И по обычаю своему взглянул в глаза вошедшему улыбающимися, внимательными своими глазами.

Посетитель, храня все тот же мрачный, чопорный вид, поздоровался с Алексеем Максимовичем и вручил ему объемистую рукопись. Это были исписанные размашистым почерком огромные, вырванные из бухгалтерского гроссбуха листы. Затем он сел на стул, заложил ногу на ногу, скрутил, важно и сосредоточенно поджав губы, козью ножку, закурил, и в комнате запахло махоркой. От предложенных Алексеем Максимовичем папирос он вежливо отказался, объяснив, что любит крепкий табак.

Случайный и почтительный свидетель этой встречи, я из последовавшего затем разговора понял, что этот угрюмый человек в солдатской гимнастерке — писатель Александр Грин. Друг против друга сидели самый ясный и близкий народу писатель Максим Горький, гениальное сердце которого хранило неисчерпаемые запасы оптимизма, и нелюдимый, резко отделивший мечту свою о жизни от жизни реальной, писатель Александр Грин.

Это было в двадцатом году. В тот год Алексей Максимович, собирая интеллигенцию и организовывая ряд литературных и других культурных предприятий, нашел Александра Грина и привлек его к работе над биографиями знаменитых исследователей Африки. Алексей Максимович попутно выяснил, что Александр Грин только что оправился после сып-

ного тифа, находится в трудном материальном положении и даже не имеет где жить. И по обычаю своему Алексей Максимович осторожно и умело устроил Грину все возможное для работы и выхлопотал ему комнату в Доме искусств, который описан Гриним в рассказе «Крысолов».

Громадная фигура Александра Грина стала появляться в двадцатые годы на литературных собраниях, внушая молодежи некоторый страх и почтение. Грин слушал споры и дискуссии писателей и молчал. Он был неразговорчивый и невеселый человек. Этот сорокалетний «старик» не очень доверчиво, но очень внимательно присматривался к молодым советским писателям, начинавшим тогда свою работу. В рассказе одного из молодых, читавшемся публично, попалась фраза: «Небо было как небо», и это был единственный случай, когда Грин рассердился и расстроился. «„Небо было как небо“, — повторял он. — „Небо было как небо“...» И просил меня передать молодому писателю, что так нельзя. Сам он в разговор с ним не вступил.

Имя Александра Грина звучало в дореволюционной русской литературе отдельно от всех школ и течений, отдельно от всех других писательских имен. Имя — Александр Грин — звучало дико и неприютно, как имя странного и очень одинокого создателя нереальных, только в воображении автора живущих людей и стран. Толстые журналы и альманахи редко допускали на свои страницы произведения этого мечтателя. Маститые критики не утруждали себя писанием статей об этом необычном авторе необычных для русской литературы вещей.

Но все же творчество Александра Грина, вызывавшее интерес и внимание читателя, требовало объяснений. И было решено, что Александр Грин — последователь авантюрной западноевропейской и американской литературы.

Грин был оттеснен в мелкие журналы, требующие «сюжетной литературы», он получал премии на конкурсах бульварной «Биржевки». Негласно было решено, что серьезных проблем этот писатель не ставит. Имя его стояло в ряду забытых ныне литераторов, постоянных сотрудников всякого рода «Синих журналов».

Но Александр Грин продолжал беспокоить воображение. Он не развлекал, а тревожил. И в каком бы плохоньком журнальчике ни печатались рассказы его, они, резко контрастируя с остальным материалом, обращали на себя внимание и оставались в памяти. Имена влиявших на Грина иностранных писателей кое-что объясняли в творчестве Грина. Любимейшими писателями Грина были Стивенсон и По, и бесспорно влияние на него этих классиков. Но неразъясненным осталось своеобразие Грина.

Будь Александр Грин простым эпигоном, покорным подражателем, не стоило бы особенно долго и говорить о нем. Но этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего отчаяния, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой, особый цвет. И в творчестве этом выражен своеобразный облик человека, которого услаждают, мучают и влекут к активным действиям мечты, кажущиеся ему подчас несбыточными, человека, страстно ненавидящего все злое в жизни и активно любящего добро.

Александр Грин умел внушать страх иным людям. Он умел отвечать резко, сговорчивостью и ложным добродушием он не отличался. И в литературе он был несговорчив, упрямо от книги к книге прокладывая свой, особый путь. В нем долго жило убеждение, укоренившееся с дореволюционных лет, что только на себя и можно полагаться. 8 октября 1926 года он писал мне: «Став капитаном, не сбивайтесь с пути и не слушайте никого, кроме себя». Типично гриновский совет.

Один поэт, решив использовать Грина для своей группировки, адресовался к нему как к родственному якобы этой группе писателю:

— Объединитесь с нами! — предложил он.

— Нет, — с тихой яростью ответил Грин и прошел мимо.

Потом он объяснил мне:

— У него кривой и недобрый глаз. Он злой человек.

Александр Грин, одинокий, нелюдимый, угрюмый, не был злым человеком и не был злым писателем. В этом большом и сильном теле жила страстная мечта о доброй жизни и добром человеке, воплощающем в жизнь мечты о счастье человеческого. Что же касается разных литературных групп, то Грин никогда ни в каких группах не состоял, он жил и умер писателем-одиночкой. Он не понимал и не признавал групповой борьбы, отвергал зависть и склоку. Однажды он расказал мне, как два больших писателя чуть не подрались, споря о том, кто из них лучше пишет. И рассказ свой Грин заключил так:

— А по-моему, мир широк! Всякому место найдется.

Было похоже, что для себя он давно отказался от всякого писательского тщеславия, писательского честолюбия. Было похоже, что это для него раз навсегда решенный вопрос.

Он с удивлением рассказывал мне, как воспринял Куприн статью о себе, в которой критик называл его «первым из вторых». Куприн, по рассказу Грина, повторял горько:

— Я не из первых! Я из вторых, из вторых. . .

— Какое честолюбие! — удивлялся Грин. — Он хотел, чтобы его считали первым!

Некоторое даже уважение звучало в его голосе. Было ясно, что он уже не задумывается над тем, кто он: первый или сто первый?

Куприна он любил. В первых реалистических рассказах Грина, собранных в книге «Шапка-невидимка» (она издана в 1908 году), чувствуется влияние Куприна. Книжка эта, надо сказать, неудачна, что признавал и сам Грин. В этой книге он не нашел себя, пытаясь писать бытовые рассказы. Неудача постигла его, и он покорился особенностям своего оригинального дарования, которое повело его по пути одинокому, отдельному от других писателей. Он подчинил свое творчество страстной мечте, выращенной в суровой и трудной его жизни.

Иногда он уставал от несоответствия мечтаний своих с действительностью, вовлекаясь тем самым в традиционное русло романтического разочарования и отчаяния. Может быть, иной раз он даже пугался своих собственных вымыслов, отрывавших его от реальной жизни, от реального повседневного быта. Может быть, он подчас тяжело ощущал свое обособленное положение в литературе, свое одиночество и неприютность. Может быть, тоска и отчаяние подчас одолевали его. Но он не любил говорить о себе и своих душевных строениях. Он был замкнут и никогда о себе не распространялся. В рассказе «Крысолов» он пессимистически пишет, что «внутренний мир наш интересен немногим». Но тут же добавляет: «Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал».

Показательно краткое выступление Грина на банкете литераторов в честь приехавшего к нам в двадцатом году Уэллса. Его речь резко отличалась от ряда произнесенных на этом банкете речей, в которых было немало пошлого, глупого и враждебного Советской власти. Грин держался еще более чопорно, чем всегда. Он приветствовал Уэллса как художника. И он напомнил присутствовавшим рассказ Уэллса «Остров эпиорниса» — о том, как выкинутый на пустынный остров че-

ловец нашел там яйцо неизвестной птицы, положил его на солнечный припек, согрел и вырастил необыкновенное существо, от которого ему пришлось спасаться, ибо это его дитище стремилось убить его.

В человеке, вырастившем необычайную птицу, Грин усмотрел художника, в птице, гонящейся за ним, — плод его художественного воображения, мечту его. Эта мечта, по Грину, была способна убить ее носителя. Уже одно это неожиданное истолкование рассказа Уэллса показывало, как относился к творчеству художник-фантаст Александр Грин. Искусство казалось Грину подчас недобрым, злым, способным убить человека.

Как часто случается с писателями, Грин, говоря о другом писателе, в данном случае об Уэллсе, говорил, конечно, о самом себе. В выращенной на пустынном острове странной птице Уэллса Александр Грин увидел родное душе своей искусство. И когда Грин описывал пустынный остров, казалось, что описывает он любимые, родные места. И со вкусом произносил он такие необычные для русского языка слова, как, например, «дрок». В этом своем выступлении Грин продолжал, в сущности, прежнюю свою, дореволюционную линию поведения, охранял позицию человека, оставшегося наедине со своей мечтой, которая гонит его и грозит убить его.

Настроение отчаяния с особой силой выразилось в его рассказе «Штурман „Четырех ветров“». В этом рассказе штурман ночью бродит по городу, ища общества, ища собутельников, и вот он с остервенением рвет ворота дома, произносит громовые речи, требует людей. Но дом этот, перед которым неистовствует пьяный штурман, оказывается пустым, мертвым. А за этим штурманом доверчиво шагает автор: «Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый».

Сила отчаяния в этом рассказе равна силе человека, это отчаяние испытывающего. Оставив пустой, обезлюдивший дом, «мы пошли снова», — заканчивает свой рассказ Грин.

Вспомним, что один из романов Грина называется «Дорога никуда». В мраке дореволюционной ночи Грин не нашел верного пути. Одиночество, отчаяние, «позорный столб» за проявление человеческого чувства, нарушающего социальные перегородки, бунтарство и протест одиночки — эти мотивы обычны для произведений Грина. И эти мотивы не просто взяты были Грином из существовавшей до него литературы, нет, они органически принадлежали ему, выстраданные, выращенные его жизнью бродяги, борющегося против всякой несправедливости.

Эти мотивы Грин развивает мастерски, создавая жанр авантюрной новеллы, авантюрного романа, населяя свои книги моряками, бродягами, бунтарями. Мастерство делает увлекательными произведения Грина, бунтарству его героев мы сочувствуем, но в то же время видим, что «Замечательная страна», о которой мечтает Грин, весьма смутно рисуется его воображению.

Мотивы одиночества и отчаяния особенно характерны для дореволюционного Грина, нашего приюта, неверный и обманчивый, в литературной богеме, оставившей в быту его сильный след. Грин вел безалаберный образ жизни. Он пил.

Но все эти черты постепенно пропадали в Грине в послеоктябрьские годы. Черты эти не выражали подлинного характера Грина. Привычки, принесенные им из дореволюционного маразма, из ресторана «Вена», из пивных и бильярдных, оставляли его. И он, никогда не знавший домашнего уюта, никогда не имевший рабочего кабинета, женился, в 1924 году поселился в Крыму и последние годы жизни (умер он 8 июля 1932 года) провел оседло, в дружбе с людьми и в работе.

Мечты и надежды Грина яснее всего выражены в его книгах. Книги — главное, что характеризует писателя. Грин был в творчестве своем до конца искренен и чист. И творчество Грина из года в год становилось углубленнее. Оно светлело в послереволюционные годы, словно медленной и робкой рукой человека сомневающегося, недоверчивого, но желающего поверить, раздвигались черные шторы, открывая взору мир осуществимого и реального счастья. Просветление творчества Грина наиболее выразительно проявилось в его произведении «Алые паруса», которое он сам назвал феерией и которое с полным правом можно назвать также сказкой.

«Алые паруса» были написаны Грином в 1920 году. В этой вещи с большой силой сказались самостоятельность и оригинальность Грина, стремление его создавать доброе, окрыляющее людей искусство. И в этой вещи побежден, но не навсегда, преследовавший Грина мотив одиночества и отчаяния. «Алые паруса» — сказка о воплощенной в жизнь мечте, о том, как добрая воля человека превратила мечту о счастье в счастье реальное.

Эта чудесная и привлекательная феерия повествует о том, как некий собиратель песен, легенд и преданий рассказал случайно встреченной им маленькой девочке со сказочным именем Ассоль о счастье, ее ожидающем. В шутку, сам не веря, конечно, в правду своих слов, он предсказал, что счастье принесет ей человек, который явится к ней на корабле с алыми парусами. Девочка поверила навсегда в то, что предсказание это осуществится. Она не скрывала от других своей мечты и своих ожиданий, и потому ее начали считать не вполне нормальной и смеялись над ней. Но насмешки не смущали Ассоль, она твердо верила в свою мечту.

Она была уже взрослой девушкой, когда один моряк-романтик узнал об этой странной истории, ставшей достоянием

сплетен и издевательств. И он решил воплотить мечту в жизнь. Он поставил на своем корабле алые паруса, выполнил все, что шутя напроорочил сказочник, и доставил девушке победу над здравомыслящими, бескрылыми насмешниками. Надо добавить, что девушка с отцом своим, бывшим матросом, росла одиноко, без друзей, в конфликте с окружающими их людьми — обычный мотив Грина.

Действие этой феерии происходит в сказочной деревне Каперна, вблизи столь же сказочного города Лисс. Лисс, Зурбаган, Каперна — все эти не существующие в действительности, рожденные воображением автора места не раз повторяются в произведениях Грина. В сущности, вымышленные, воображаемые места эти невольно приводят на память «тридцатое царство» народных сказок.

Произведения Грина подчас куда ближе к сказке, чем к традиционной авантюрной литературе. И форма сказки особенно удалась Грину в «Алых парусах». В этой феерии есть неожиданный для Грина оптимизм, лишенная мистицизма вера в возможность счастья на земле, вера в то, что счастье может быть организовано умом, сердцем, волей человека. Герой «Алых парусов» говорит товарищам, что благодаря мечте Ассоль он «понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».

В процессе творчества, создавая свой фантастический мир, Грин сам начинал жить воображаемой жизнью, вымышляя никак не соответствующие истине отношения между людьми, с которыми он встречался. И случалось, что, поверив в собственные свои домыслы, он вторгался в жизнь человека с поступками совершенно несообразными и нелепыми.

Мне привелось однажды стать жертвой его воображения. Как-то, явившись ко мне поздно вечером, он очень чопорно попросил разрешения заночевать у меня. Он был абсолютно

трезв. И вот среди ночи я проснулся, ощутив неприятнейшее прикосновение чьих-то пальцев к моему горлу. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной Грина, который, весьма мрачно глядя на меня, задумчиво сжимал и разжимал сильные свои пальцы на моей шее, соображая, видимо, задушить или нет. Встретив мой недоуменный взгляд, он, как очнувшийся лунатик, разогнулся и, не молвив ни слова, вышел.

Мне потом удалось выяснить причины этого внезапного и фантастического поступка. Грину представилось, что я обязан жениться на одной девушке. Он построил в воображении своем отчаянный сюжет, в котором я играл роль злодея, и, побуждаемый добрыми намерениями, в моем лице решил наказать порок. Нечего и говорить о том, что все это не имело абсолютно никаких реальных оснований. Может быть, сцена, в которой я оказался невольным участником, была всего лишь литературным вариантом «Алых парусов», которые он писал тогда.

Во всяком случае, я не стал бы упоминать тут об этом глупом происшествии, если б не хотелось мне показать на конкретном эпизоде фантастичность поведения, которая иной раз проявлялась у Грина в жизни. Такого рода поступки и служили почвой для самых необычайных легенд об этом писателе — легенд, которые он сам опровергал, и справедливо опровергал, в своей «Легенде о Грине» (так хотел он сначала назвать свою «Автобиографическую повесть»).

Этот же человек, который собирался задушить меня, мне первому читал «Алые паруса». Он явился ко мне тщательно выбритый, выпил стакан крепкого чая, вынул рукопись (все те же огромные листы, вырванные из бухгалтерских книг), и тут я увидел робость на его лице. Он оробел, и странно было слышать мне от этого человека, который был старше меня

на двадцать лет, неожиданное, сказанное сорвавшимся голо-  
сом слово:

— Боюсь!

Ему страшно было услышать написанное им, проверить на слух то, над чем он работал так долго, и вдруг убедиться, что вещь плоха. А произведение это, «Алые паруса», было поворотным для него, для его творчества. Это был тот страх художника, который так замечательно изображен Львом Толстым в художнике Михайлове, показывающем свою картину Анне Карениной и Вронскому.

Потом Грин, преодолев робость, начал читать. Дойдя до того места, когда Ассоль встречается в лесу со сказочником, Грин вновь оробел, и голос его пресекался. Тогда я сказал ему первую попавшуюся шаблонную фразу:

— Вы пишете так, что все видно.

— Вы умеете хвалить, — отвечал Грин и, взбодренный банальной моей похвалой, прочел превосходную свою феерию уже без перерывов.

Удивительно, как мало нужно сделать, чтобы ободрить, окрылить иного писателя!

Грин не слишком привычен был к похвалам. Он испытывал подчас и особого рода робость — робость писателя, не признанного «высокой литературой», но в то же время писателя-профессионала, живущего литературным заработком. Однажды, когда он нуждался, он написал одноактную пьеску и прочел ее Шкловскому, от которого отчасти зависело принятие этой пьески в маленький театрик. Пьеса оказалась плохой, Шкловский, любивший Грина и расстроенный его неудачей, выскочил из комнаты, ничего не сказав. А Грин робко взглянул на меня и спросил:

— Не примет?

Надо прибавить, что и в неудачных своих вещах Грин

органически развивал свой стиль, свою манеру письма. И в неудачных его вещах явственно были видны его лицо, его почерк, слышен был его голос. Даже в маленьких записочках Грин оставался Грином. Вот, например, я нашел недавно у себя среди писем клочок бумаги. На нем: «Извините меня, что я взял у вас огня, то есть — коробку спичек. Утащил без кавычек». И дальше что-то в роде белых стихов: «Увы, прощенья нет! Злодей, молчи и брось кинжал...» Не нужно мне было и подписи, чтобы сразу увидеть, что писал эти строки Александр Грин. Писал, конечно, в двадцатом году в Доме искусств. Постучался в мою комнату, отворил, меня не было, он взял спички и оставил записку. Так мы ходили друг к другу. Комнаты на ключ мы не запирали.

Александр Грин был мастером сюжета. Но даже те, которые признавали это, считали, что язык произведений Грина подобен языку переводных романов. Легко проследить зависимость стилистики Грина от По, Стивенсона.

Но ошутимей обнаруживается связь с иными из русских реалистов (например, в рассказе «Возвращение» — с «Братьями» и «Господином из Сан-Франциско» Бунина). Можно открыть в произведениях Грина несомненное влияние Гоголя, Достоевского. Но было бы неправильно, характеризуя стиль Грина, ограничиваться только указаниями на все эти влияния.

Своеобразное дарование Грина создавало своеобразный, оригинальный его стиль, отнюдь не подражательный. Впечатление переводного языка, зависимого от текстов неизвестного подлинника, порождается необычным для классических традиций русской литературы содержанием произведений Грина. Нерусские имена персонажей усиливают это впечатление. Русский язык кажется подчас каким-то нерусским у Грина, потому что русские слова несут у этого фантаста и мечтателя функции, подчас новые для русской литературы, но не новые

для ряда иностранных литератур (в особенности английской и американской). И все же Александр Грин был русским писателем!

Грин тщательно работал над языком своих произведений, ища наиболее выразительные слова для выпуклого, рельефного изображения своих фантастических героев. Нет ничего случайного и неряшливого в языке лучших произведений Грина. Стиль Грина, оживляемый то лирикой, то иронией, остается всегда спокойным, ровным, лишенным претенциозного, безвкусного вычура, выпренной риторики. Самые необычайные события Грин излагает без нажима, так, как рассказывают о самых обыкновенных, всем известных вещах. Этот контраст тона и содержания, придавая художественную убедительность произведениям Грина, составляет особенность его манеры, которая опять-таки роднит лучшие его произведения с народными сказками.

Свой сказочный мир Грин описывает реалистически, без каких-нибудь несуразных подробностей. Его Лисс, Зурбаган, Каперну можно воспринять зрительно, как абсолютную реальность, и моя банальная похвала Грину при чтении им «Алых парусов» не была в этом смысле фальшивой. Реалистическое описание этих вымышленных городов и деревень как нельзя лучше контрастирует с фантастичностью разыгрывающихся в них событий.

Вчитайтесь в такие страницы, как, например, описание леса в «Алых парусах», изображение шторма в рассказе «Против бурь» и т. д. — и оригинальный живописный дар Грина станет так же ясен вам, как его ирония, его лирика, его умение скупой передавать динамику событий и сложность душевных движений. Он находит весьма удачные образы для скупого и точного изображения психики своих персонажей.

При внимательном чтении лучших страниц Александра

Грина ясным становится, что этот фантастический, кажущийся нерусским писатель отлично владел родным русским языком. Он мучительно и напряженно работал, воплощая свои смутные мечтания в слове, в художественных образах.

Тема мечты плотно вошла в творчество Грина, стала, в сущности, основной его темой. Сразу после «Алых парусов» он принес мне однажды небольшой рассказик, страницы на три, с просьбой устроить его в какой-нибудь журнал. В этом коротеньком рассказике описывалось, как некий человек бежал, бежал и наконец, отделившись от земли, полетел. Заканчивался рассказ так: «Это случилось в городе Р. с гражданином К.».

Я спросил:

— Зачем эта последняя фраза?

— Чтоб поверили, что это действительно произошло, — с необычайной наивностью отвечал Грин.

Он увидел сомнение на лице моем и стал доказывать, что, в конце концов, ничего неправдоподобного в таком факте, что человек взял да полетел, нет. Он объяснял мне, что человек, бесспорно, некогда умел летать и летал. Он говорил, что люди были другими и будут другими, чем теперь. Он мечтал вслух яростно и вдохновенно. Он говорил о дольменах как о доказательстве существования в давние времена гигантов на земле. И если люди теперь не гиганты, то они станут гигантами.

Сны, в которых спящий летает, он приводил в доказательство того, что человек некогда летал; эти каждому знакомые сны он считал воспоминанием об атрофированном свойстве человека. Он утверждал, что рост авиации зависит от стремления человека вернуть эту утраченную им способность летать.

— И человек будет летать сам, без машины! — утверждал он.

Он всячески хотел подвести реальную мотивировку под свой вымысел.

Рассказ не был напечатан.

— Он не имеет сюжета, — вежливо, но непреклонно сказал мне редактор. — От Грина мы ждем сюжетных рассказов.

Этот рассказ был первым наброском романа Грина «Блестящий мир», начатого в том же двадцать первом году. В этом романе полностью разработан мотив летающего человека, разработан в привычной Грину форме фантастического романа, который в то же время опять-таки может быть с полным правом назван сказкой.

Роман этот построен мастерски. Он увлекателен, динамичен и держит читателя от начала до конца в напряжении. Действие романа происходит в 1913 году в обычном для Грина сказочном городе Лиссе. Содержание романа составляет борьба бескрылого буржуазного мира стяжателей против «чуда», против мечты, воплощенной в образе летающего человека Друда. К ужасу тюремщиков, Друд вырывается, вылетает из тюрьмы, куда упрятали его. Он побеждает все сильного министра с его полицией, побеждает спокойно, иронически, презрительно.

Но каковы стремления Друда? «Невидимка» Уэллса хочет завоевать мир. Грин лишает Друда желания вмешиваться в жизнь. Друд отвергает план овладения миром. Он говорит: «Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра».

В противоположность «Алым парусам», в романе «Блестящий мир» действует герой, склонный к пассивности, пессимизму в оценке реальной жизни. Друд живет в сказочном, бесплотном мире музыки, веселья, покоя, изредка только появляясь в мире реальном, где он вызывает ненависть не активностью своей, не какими-нибудь планами борьбы против

косности людей, но просто необычностью своего чудесного свойства.

Мечта фатально гибнет от соприкосновения с реальностью. Образ «разбитой мечты» реализован Грином в летающем человеке, который разбился при падении. И женщина, ненавидящая Друда за то, что он смутил ее земную жизнь чудесной мечтой, говорит над его трупом: «Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить, как жила». И люди продолжают прежнюю жизнь, ничего не изменилось в этом косном мире.

Такова грустная философия этого противоречивого романа, написанного Грином непосредственно после оптимистических «Алых парусов». Ненависть к косности человеческой сочетается в этом романе с бессилием, беспомощностью, бесплотностью мечты. Энергичное развитие сюжета, динамичность композиции романа контрастируют со смутными и вполне пассивными идеалами главного героя, которые опровергались жизнью в те годы, в которые писался этот роман.

В сказочном мире Грина мечта и действительность спорят и борются друг с другом. Грин жил в годы, когда спор этот решался в жизни, которая окружала его, Грин жил среди активнейших мечтателей, но пути борьбы были неясны ему, и это было трагедией его как художника. «Алые паруса» остались наивысшим взлетом его оптимизма. Но удивительно, даже, я бы сказал, трогательно была радость его, когда он на пустяковую услугу отзывался иногда взволнованной благодарностью, словно убеждался еще и еще раз, что люди хороши, что жизнь не так мрачна, как в дореволюционные годы.

Какая-то мужественная нежность жила в нем. Вот он пишет мне 19 октября 1926 года: «Кому мы, литераторы, посвящаем наши книги, — если не на бумаге, то в душе? Ко-

нечно, нашим женам. Вот и я посвящаю книгу Нине Николаевне». И тут же чопорно и настороженно он добавляет: «Надеюсь, это невинное и законное желание не встретит возражений со стороны других членов редакции».

После «Блестящего мира» в рассказе «Возвращение» Грин умиротворенно и печально писал о том, как человек перед смертью «понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть».

И он добавляет грустно: «Но было уже поздно».

А в рассказе «Комендант порта», полном грустной иронии и лиризма, Грин как бы прощается с воображаемой жизнью. Тильс, добрый и смешной старичок, над которым смеются, но которого в то же время любят, никогда не был моряком, моряком он был только в воображении. Но он влюблен во все, что связано с морем и морскими приключениями, он смешон и трогателен в своей бескорыстной любви к героям больших рейсов и романтических путешествий, в своих безобидных попытках подражать морякам, представляться старым морским волком.

Этот рассказ просто и мягко разоблачает воображаемую жизнь романтика. Вместе с такими произведениями, как уже упоминавшееся мною «Возвращение», «Комендант порта» предшествует переходу Александра Грина к реализму.

Грин оставил нам только одно реалистическое произведение — «Автобиографическую повесть». Интересно сопоставить ее с написанным раньше романом «Золотая цепь». «Золотая цепь» развивает обычную для Грина тему мечтателя. «Его ум требовал живой сказки, а душа просила покоя», — говорится про героя этого романа, живущего в сказочном дворце. Юноша, действующий в романе, одет в пышные одежды

фантастического вымысла. Он приблизительно в том же возрасте, что и герой «Автобиографической повести» — сам автор, Александр Грин. Можно сказать, что если «Автобиографическая повесть» рассказывает о реальной юности Александра Грина, то «Золотая цепь» говорит о воображаемой его юности.

В «Автобиографической повести» Александр Грин просто и сурово рассказывает о своей жизни. И понятным становится, как, загнанный нищетой, голодом, болезнями, преследованиями царской полиции, тюрьмой, Александр Степанович Гриневский (такова подлинная фамилия Грина) убежал от российской действительности в мир мечты и блуждал там. Причудливая фантастика Грина, его пессимизм, мучительная борьба с поселившимися в душе его безверием и отчаянием, его блуждания в поисках верного пути — все это находит почву в русской действительности времен реакции.

Творчество Грина просветлело после Октября. Ласковая рука Горького поддержала его. Неизвестно, что дал бы Грин на новом — реалистическом — этапе своего творчества. Он умер от рака в самом начале этого своего нового пути, не закончив «Автобиографической повести».

Мастер сюжета, Александр Грин создал ряд увлекательных книг, в которых мечта о счастье спорит и дерется с косностью человеческой. Я не критик, а прозаик, и мне просто хотелось рассказать об очень талантливом и очень странном русском писателе так, как я его знал и как я его понимаю.

1939



„ЗДЕСЬ  
ЖИВЕТ  
И  
РАБОТАЕТ  
ОЛЬГА  
ФОРШ“

---

**П**одилась Ольга Форш в дагестанской крепости Гуниб, отец ее был генерал, и что-то от военного сословия чувствовалось в ее осанке, в ее неизменной выдержке при всех жизненных испытаниях, во всем ее облике. Ни разу за все десятилетия, что я знал Ольгу Форш, не привелось мне видеть ее поженски плачущей или в отчаянии, хотя бывали у нее очень трудные моменты, тяжелые переживания. Не слышал я и от других, чтобы когда-нибудь она плакала или рыдала, как плачут, рыдают, жалуются женщины. Железа в ее характере

было достаточно, она умела держать в узде свои чувства, даже самые сильные, или выражать их в сжатом слове, в поступке. Когда случалось у нее несчастье с ней самой или с ее родными, то наедине с собой она, конечно, очень страдала, но и в такие дни на людях она сохраняла уверенную устойчивость, словно сама была крепостью, возвышающейся, как ее Гуниб, на неприступной для робкого сердца горе. Никакой осадой не возьмешь, а огня и вылазки жди. Мне казалось всегда, что ее дружба с П. А. Павленко отчасти рождена была Кавказом. Гуниб был построен, кстати, на той самой горе, на которой пленен был Шамиль. Павленко писал о Шамиле роман.

А. Н. Толстой перед отъездом с группой писателей в революционную Испанию сказал как-то:

— Вот бы поехать туда Ольге Форш!

И состроил этокое генеральское лицо, проведя пальцами над губой, как по пышным старинным усам.

Не знаю отца Ольги Форш генерала Комарова, бывшего в семидесятые годы прошлого века начальником Среднего Дагестана, но повадка его дочери, вся манера ее вести себя была доброй демократической закваски, словно происходила она непосредственно от декабристов или — еще ближе — от Софьи Перовской, тоже генеральской дочери. В ее характере отсеклось то ценное, что отличало русских военных людей.

Никакими силами нельзя было сорвать Ольгу Форш с корней, уходящих глубоко в русскую почву, в русскую историю и культуру. В первые годы Советской власти страх, непонимание, заблуждения, косность, попросту ненависть гнали многих старых литераторов из Петрограда на юг, не только поближе к хлебу, но и к белым, а затем в эмиграцию. В те же самые годы, когда этот поток стремился прочь из

Петрограда, Ольга Форш проделала (так же, кстати, как и М. Шагинян) обратный путь — с юга на север, в голодный, холодный, сыпнотифозный, холерный Петроград. Ураганный ветер Октября не отталкивал ее, как многих ее ровесников, среди которых были и знакомые и, наверное, друзья, — он влек ее к себе. Со своим чувством истории, со своим пониманием времени она жадно впитывала в себя события и всматривалась в людей пытливо и глубоко.

Ольге Форш было уже под пятьдесят лет, но она полна была молодой живости, веселости, энергии, когда появилась с сыном и дочерью в Петрограде и сдружилась с нашей тогдашней молодой литературной компанией, группировавшейся в ту пору, в 1921 году, вокруг Горького. Она поселилась в Доме искусств, много и разнообразно работала и делила с нами все радости и тяготы жизни. Впоследствии она написала о быте и нравах Дома искусств роман «Сумасшедший корабль», остро, подчас ядовито изобразив в нем его жильцов и посетителей.

Своим женским приметливым глазом она многое замечала в людях и с проницательным лукавством, с юмором, то пленительно-добрым, то весьма даже язвительным, давала меткие и едкие характеристики. Она любила тихо, как бы невзначай, с добродушным ехидством ущипнуть человека словом.

Молодые писатели еженедельно собирались у меня в комнате. Иногда мы очень шумели, споря, разговаривая, перебивая друг друга. А в том же Доме искусств, в одном коридоре со мной, жила почтенная писательница, Екатерина Павловна Леткова-Султанова, старая народница, произведения которой хвалил в свое время Н. К. Михайловский. При всей любви к молодежи (ее сын дружил с нами), при всей кропотливости, она все же иногда вздыхала, когда наши голоса разносились по всему коридору, да еще громыхнут при этом за

дверью солдатские сапоги кого-либо из опоздавших на наше собрание. Она вздыхала и однажды пожаловалась Ольге Форш:

— Il est très mal élevé<sup>1</sup>.

Она говорила это обо мне как о хозяине комнаты, который обязан отвечать и за себя и за гостей.

Форш не без удовольствия передала мне этот отзыв и любила повторять иногда, добродушно посмеиваясь:

— Il est très mal élevé.

Сама она не искала тишины и даже наслаждалась шумом на наших собраниях, на которых она была всегдашним, желанным, почетным гостем.

Спорили мы очень жаростно и действительно очень шумели. Но что же тут делать? Было горячее время рождения советской литературы, и кричали мы о ней, о новой, революционной литературе. Без всякой водки, даже без чая и хлеба, на голодный желудок. Чтение и обсуждение рукописей мы на публику не выносили, как дело, так сказать, интимное, занимались этим в узкой компании. А вот для развлечений, для кино и театральных представлений мы переходили в гостиную, подальше от жилых комнат. Сын Ольги Форш, тогда подросток, впоследствии талантливый геолог, был неизменным участником этих наших вечеринок. Конечно, постоянной посетительницей была и Ольга Форш.

Она не кичилась, не фыркала на молодых, не брала с нами тон этакого премудрого мэтра, патриарха, несущего себя перед брюхом на золотом блюде, а горячо и заинтересованно слушала, читала, оценивала, радовалась, сердилась, упрекала, когда не соглашалась с кем-либо из нас, и все это без каких-либо требований обязательного, немедленного по-

---

<sup>1</sup> Он очень плохо воспитан (франц.).

слушания. Во всем этом она была сродни Горькому. Она так же делилась с нами своими замыслами и работами.

Много всякого было в то бурное время. Одновременно с рождением новой, советской литературы и бегством из Петрограда ряда старых литераторов происходила стихийная переоценка дореволюционной беллетристики и поэзии. Сдувалось, словно и не было, все фальшивое, ремесленное, легковесное, слащавое, писанное хотя бы и модными, известными в дореволюционные годы писателями. Имена их меркли, иные из авторов вслед за своими книгами летели туда, где их сочинения еще признавались, в конечном счете — в эмиграцию.

Ольга Форш, автор талантливых произведений, имевшая уже тогда литературное имя, шла навстречу переоценке совершенно безбоязненно; она, видимо, и не думала о том, что можно тут чего-то бояться. Она глядела вперед, а не назад. Вообще когда вспоминаешь об Ольге Форш того периода, то опять и опять с недоумением соображаешь, что ведь она была старше, например, меня на двадцать четыре года. Двадцать четыре года разницы — а вот кажется, что мы были ровесниками. То было чудесное время равенства возрастов в одном деле, чрезвычайно трудном и совершенно новом, — в деле создания советской литературы. Озорства, риска, эксперимента было много и у молодых и у старых, тех старых по возрасту, которые были молоды душой, и первым из которых был Горький, очень любивший Ольгу Форш.

Тогдашняя литературная среда не ограничивалась, конечно, только Домом искусств. Был еще и Дом литераторов, объединявший преимущественно старых, дореволюционных писателей и журналистов, были разные кружки, группы, группочки. В этом смешанном, путаном литературном обществе имели силу не только будущие эмигранты, еще хо-

дившие в ту пору по Петрограду, но и ниспровергатели всего на свете, а прежде всего — всякой культуры в общении с людьми. Были сильные перегибы, раздавались голоса и против классиков, некоторые готовы были с легкостью необыкновенной выбросить за борт всю старую культуру. Среди нас такого не бывало, но в других кругах случалось. И при столкновениях с такими отчаянными литературными революционерами и новаторами Ольга Форш возмущалась, негодовала, вступала в бой напористо и гневно, уговаривала, убеждала.

Были среди ниспровергателей и такие, кто распушенность и грубость считал признаками революционности. Недостатки, оставшиеся в наследие от прошлого, они возводили в принцип поведения, стараясь приспособиться таким образом к эпохе. В этом сказывалось их извращенное представление о народе и революции, их непонимание народного духа, движения истории. Ольгу Форш, изучавшую глубокий исторический процесс революционного преобразования России, стремившуюся помочь народу в критическом восприятии культуры прошлого, оскорбляли демагогические выходы этих особого рода «приспособленцев» (именно тогда родилось это слово), она отлично видела их фальшь, умела различить чуждую народу и революции суть. При встречах с их, так сказать, «принципиальным» бескультурьем в поведении она вела себя с большим чувством собственного достоинства, пресекая всякое хамство. Обходилась иной раз даже и без слов. Просто менялся весь ее облик, на замок замыкалось лицо, вдруг становившееся суровым, властным, негодующим, словно одним махом она возносилась из какого-нибудь чуждого ей сборища, на которое случайно попала, к себе в Гуниб, на недоступную вершину крутой, обрывистой горы. Развязность и невежество пугливо сникали перед таким преображением

только что совсем доброй и простой женщины. Да, фамильярность с ней была невозможна.

Как-то я рассказал ей, что в 1919 году на курсах милиции, когда я спросил, кого из классиков признают собравшиеся своим любимым писателем, большинство высказалось за Тургенева.

Форш очень обрадовалась:

— Тургенев! Тургенев — любимец милиционеров!.. Вот видите... А кто первый назвал его? Женщина? А что именно? Лиза Калитина! «Живые мощи»!.. А что еще? И мужчины согласились? Вы рассказали об этом Алексею Максимовичу?.. Ну что же вы! Надо рассказать!

Она была очень довольна, что красные милиционеры любят Тургенева, читают и любят классиков. Что у женщины-милиционера любимой героиней оказалась Лиза Калитина.

К злобе стариков она относилась так же, как к бескультурью. Некоторые из отходящих в прошлое литераторов зыркали и шипели на молодых писателей, ворчали и брюзжали. Один из них, скрывшись под мрачным псевдонимом «Ипполит Удушьев», опубликовал грубую брань против молодежи в альманахе с мудреным названием «Абрассас». Я показал Ольге Форш эту статью, как нечто смешное, юмористическое. Но на лице ее появилось брезгливое выражение, словно она наткнулась на нечто непристойное. Не сказав ни слова, она отшвырнула альманах, как пакость какую-то. Может быть, ее задело еще и то, что автором этой статьи был ее ровесник, с которым она когда-то была знакома. Ей противна была его злоба.

Для тех, кто хорошо знал Ольгу Форш, ничего неожиданного не было в том, что именно она стала пионером советского исторического романа. Конечно, именно она, глубоко и кровно связанная с историей и культурой русского народа,

ясно видевшая место и роль России в мировой истории, она, с ее проникновением в связь времен, в связь эпох, — она и должна была дать роман, в котором сквозь прошлое прозревалось будущее и революционеры прошлого становились в один строй с живыми. «Одеты камнем» были первым историческим романом Ольги Форш и вообще первым ее романом.

«Одеты камнем» закончены были в 1924 году, когда Ольге Форш шел пятьдесят второй год. А уже 12 февраля 1925 года она писала мне: «Есть тема: две могилы (Гоголь и Иванов). Была у Гоголя в Даниловом монастыре и диву далась: совершенный двор Ивана Никифоровича, сушится на заборе разный дряг, бабы, куры, вперлась жизнь, как ни бежал...» Это рождался новый роман, намечались контуры темы, шли поиски своего отношения к Гоголю, поиски характеристик — «вперлась жизнь, как ни бежал»...

Когда я впервые познакомился с новой жительницей Дома искусств Ольгой Дмитриевной Форш, я не знал еще, что бытовые, насыщенные острой иронией зарисовки, подписанные «А. Терек», принадлежат ей. Оказалось, что Форш и «Терек» — одно лицо, но Форш — гораздо богаче.

В дореволюционной мгле «А. Терек», роясь в душах людей, извлекал подчас болезненные уродства, мутившие чистые воды творчества, воздействовавшие и на форму, которая теряла иногда свою естественность. Но не эти осадки тяжелых лет России остались от «Терека» в памяти. Запомнились его рассказы и очерки своей резкой оригинальностью, искусным штриховым рисунком на грани карикатуры, но не переходящим в карикатуру, и юмором, сатирой. Чувствовалось, что этот «Терек» где-то там, в глубине своей, очень веселый, ему так и хочется заиграть, вырвавшись из теснин на просторы, он только временно кажется сумрачным, некрасивым, как

ребенок, болеющий корью или даже совсем неопасной ветряной оспой, а вот отшелушится — и тогда здоровье возьмет свое.

«А. Терек» не был, как лермонтовский, кавказский Терек, «дик и злобен», но саркастическим, язвительным был. Выйдя на простор послеоктябрьских лет, он освободился от чуждых ему психологических и стилистических наслоений и стал тем насмешливым, задиристым, каким, по существу, и хотел быть. Этот новый «Терек» состоял у Форш в услужении как выразитель неизменной, жизнелюбивой веселости, а подчас и как этакая метла, расчищающая путь от всякого сора. Так вот и жили в тесном, органическом слиянии подымающая и разрабатывающая огромные пласты истории романистка Ольга Форш и задорный, игривый, вызывающий улыбку и смех «Терек», забегавший, впрочем, иногда и в исторические романы своей доброй мамы Ольги Форш. Очень милое содружество, показывающее разносторонность характера и творчества.

Этот псевдоним, правда, сначала ушел в скобки, уступив первое место подлинному имени писательницы, а потом и совсем исчез. На книгах «Летошний снег», «Московские рассказы», «Под куполом» стоит уже только имя Ольги Форш, но то был все-таки «Терек», все тот же неугомонный «Терек» с острым глазом и острым языком.

«А. Терек» был началом, разгоном, разбегом на пути Ольги Форш. Он был первым моим впечатлением от Форш как от писательницы. Осталась в памяти его острая насмешливость, все другое — болезненное — отпало, и потому запомнился он мне как символ веселости и язвительности в творчестве и жизненном поведении Форш.

Форш любила пошутить. В 1927 году мы вместе были в Париже. Как-то мы с женой зашли в Музей восковых фигур.

Разглядывали вылепленных из воска, одетых, как живые, в живых характерных позах, известных и знаменитых людей. В разных углах и на лестнице были расставлены фигуры — то девушки, поправляющей чулок, то молодого человека, закуривающего папиросу. Наконец мы вышли на площадку лестницы и прислонились к перилам, отдыхая. Стоим. И вдруг слышим голос:

— Как искусно сделаны!

И кто-то тронул меня за локоть, ощупывая. Конечно, это была Форш, якобы принявшая нас за восковых. Она настаивала:

— Нет, я правда думала, что вы из воска!

Она ходила с нами на обязательный для туристов Мон-мартр, мы с ней много гуляли, и она не уставала жадно копить новые впечатления о старом Париже. Особенно она любила потом вспоминать, как старательно я греб в Версале, катая ее на лодке от Малого Трианона к Большому и обратно. Ей было, видимо, интересно соединять такие слова, как Версаль, Трианон, с нами, отнюдь не версальской принадлежности людьми. Даже в надписи, сделанной ею на книге 1950 года, я нахожу рядом с ее подписью: «Трианон — 1927, Москва — 1945, Ленинград — с 1920».

Она любила безобидные шалости и у других. Под Ленинградом был приют вроде дома для престарелых. Вспоминаю, с каким юмором рассказывала Форш о проказах тамошних старушек, среди которых она нашла и одну свою бывшую институтскую подругу. Ей очень нравилось, что эти старушки школьничали, убегали, когда их возили на автобусе на прогулку, поздно возвращались. Как девчонки.

В годы первой пятилетки она была депутатом райсовета и очень радовалась тому, что школьники и школьницы в районе называли ее «тетя Рая».

Она любила играть словами. В двадцатые годы говори-  
лось: «он (или она) хорошо подкован в идейном отношении».  
Форш повторяла слово «подкован», как бы беря его на слух,  
на нюх, на чутье, взвешивая на невидимых весах:

— А вы, Миша, хорошо подкованы?

И мне казалось, что у нее при этом возникает образ коня.  
Все-таки она выросла в военной семье, и слово «подкован»  
она чувствовала в других контекстах.

Ленинград, с которым неразрывно соединились творчество  
и судьба Ольги Форш с 1920 года до самой ее смерти, уди-  
вительно пришелся по характеру писательницы и влиял на  
нее своим закованным в строгие и стройные формы жаром,  
своей монументальностью, величием и красотой своих двор-  
цов и памятников, садов и парков, улиц и площадей. Он рас-  
крыл, подчеркнул, развил в характере Форш эти черты стро-  
гой сдержанности и монументальности. Ольга Форш стала  
певцом нашего города, его героев, его строителей. Она ды-  
шала в Ленинграде историей России, живой историей, ко-  
торая давала ей зоркость при взгляде в будущее. Здесь ре-  
шалась судьба Радищева, которому писательница посвятила  
свою замечательную трилогию, здесь на Сенатскую площадь  
вышли декабристы, о которых писала Форш в своих «Пер-  
венцах свободы». Историческими событиями огромного зна-  
чения, революционным духом насыщена история города. Здесь  
совершилась Октябрьская революция, в которой заново роди-  
лась Ольга Форш как писательница и человек.

Известно, что Ольга Форш занималась живописью, рисо-  
вала. Она написала среди других картин пастель «Петропав-  
ловская крепость». Вот она стоит передо мной, эта пастель,  
и напоминает об авторе романа «Одеты камнем». Ее успокаи-  
вала живопись. Ей давала отдых природа. Было лето, ко-  
гда мы жили вместе с ней в пограничном районе, в одной

деревне. С большой охотой, с увлечением она встречалась с пограничниками, слушала их рассказы, выступала в пограничном отряде. Время было тревожное, в Германии уже бесчинствовал фашизм. Форш усиленно работала, а когда отдыхала, то садилась на горушку и глядела на море, часто здесь лохматое, беспокойное. Говорила мне:

— Как хорошо просто глядеть на море или уйти в поле, в лес. Только природа и дает мне отдых. Я возрождаюсь, обновляюсь.

Она казалась несокрушимой. Как-то художник Н. Радлов нарисовал карикатуру, изобразив писательский дом в двухтысячном году. Весь фасад он избородил мемориальными досками — «здесь жил и работал», «здесь жил и работал»... А в центре поставил крупными буквами: «Здесь живет и работает Ольга Форш». Так она воспринималась всеми, кто знал ее.

В работе она прошла войну, всегда устойчивая, уверенная в победе добрых сил над кровавым фашизмом.

В послевоенные годы она писала медленнее, меньше. На похвалы мои ее «Михайловскому замку» она отозвалась:

— Да? — Помолчав, прибавила: — А я опасалась, что уже разучилась писать.

Она сказала это спокойно и серьезно.

Когда ей исполнилось восемьдесят пять лет, писатели собрались у нее на квартире. Постепенно мы начали шуметь, потом испугались, сообразили, что так все-таки нельзя. Но она была довольна:

— Кажется, хорошо получилось? Мужчины поспорили, значит — хорошо...

И мне вспомнился шум молодежи в Доме искусств и сакраментальная фраза старой народницы:

— Il est très mal élevé.

Ольга Форш и в восемьдесят пять лет осталась верна любви своей к шуму жизни.

19 мая 1961 года в «Правде» была напечатана ее статья, всех изумившая ясностью, прозрачностью своей и глубиной, молодая статья старого по возрасту, перенасыщенного опытом и радостью жизни человека. Через два месяца Ольга Форш умерла.

13 января того же 1961 года Форш в письме ко мне обронила фразу удивительную: «Я во всей силе ума, памяти, воли — существую... Душа моя все еще молода».

Так написала она на восемьдесят восьмом году жизни.

*1964*



”В  
СИБИРИ  
ПАЛЬМЫ  
НЕ  
РАСТУТ...”

---

ВСЕВОЛОД  
ИВАНОВ



Сибирь пальмы не растут...» Эта фраза, открывающая один из первых рассказов Всеволода Иванова, так запомнилась нам, начинающим писателям 1921 года, что мы тогда к месту и не к месту повторяли ее. Запомнилась она так, видимо, потому, что это была первая, начальная фраза первого рассказа, прочитанного Всеволодом при первом знакомстве с нами, и она сразу же прекратила обычное на наших собраниях перешептыванье, установила тишину, напрягла внимание своей неожиданностью, оригинальностью и обещанием дальнейших

открытий. Она прозвучала, как уверенное вступление к чему-то, о чем мы еще не знали, а вот сейчас узнаем. Рассказ был небольшой, но показывал такую силу, что мы немножко даже ошалели.

В ту пору я только начал пробовать себя в литературе — и вот прибыл из Сибири партизан с таким талантом и умением, что — подтянись! А ведь почти сверстник, на два только года старше.

Появлению Всеволода Иванова в моей комнате, среди «Серапионовых братьев», предшествовала рекомендация Горького:

— Здесь объявился Всеволод Иванов, из Сибири. Вы его позовите к себе. Сильно пишет. Отлично знает деревню...

Вечер нашего знакомства с молодым писателем Всеволодом Ивановым был вечером большой радости. Все мы были возбуждены и осыпали вопросами нового товарища, сразу, конечно, перейдя с ним на ты. Всеволод благостно улыбался, отвечал коротко и поглядывал на нас дружелюбно. Широкий, круглоголовый, в желтой выцветшей гимнастерке и военных штанах с заплатой на правом колене, он, отвалившись к спинке стула, жмурился в лучах похвал и похож был немножко на азиатского божка, может быть даже на самого Будду. Кто-то назвал его «брат-алеут», но это не очень привилось. «Наш сибирский мамонт», — обмолвился как-то о Всеволоде Михаил Зощенко, и это больше пришлось по вкусу. По силе Всеволод был, бесспорно, мамонт в только что рождавшейся тогда советской литературе.

Почти каждую субботу «сибирский мамонт» приносил нам новый свой рассказ. Какой-то рог изобилия — «Дитё», «Лого», «Синий зверюшка»... Нас поражали острые, из самых глубин жизни выхваченные сюжеты, яркие характеры, замечательный язык. Мы наслаждались заразительным буйством

слова, вызывающим на поединок, пробуждающим творческие силы слушателей. Да, в Сибири пальмы не растут. Есть кедр, тайга и — жесточайшая борьба с контрреволюцией. Живут там люди напряженно и не в хате у себя ищут счастья, не в дружбе с «синим зверюшкой». Могучим дыханием революции овеяны были эти первые в нашей литературе рассказы и повести о гражданской войне в Сибири.

Революционная Сибирь заговорила в произведениях Всеволода Иванова своим щедро богатым языком. Картины народной борьбы, перевернувшей жизнь России, никак не укладывались в прежние литературные рамки, и со всей неизбежностью Всеволод ломал установившиеся формы рассказа, негодные для изображения народного восстания. Это было естественно и необходимо. Даже бурнопламенный пропагандист всего нового Виктор Шкловский был побежден и восхищен Всеволодом Ивановым. «Партизаны» и «Бронепоезд» стали вершиной первого периода в творчестве Всеволода. Когда он читал нам «Бронепоезд», то мы, уже познавшие силу многоцветного потока его рассказов и повестей, все-таки еще раз были взволнованы, взбудоражены, потрясены так же, как и при первом знакомстве.

То было время первопроходцев, первооткрывателей во всех областях жизни, в том числе и в литературе. Все надо было увидеть и определить заново, потому что все сдвинулось, переменилось, переместилось, перевернулось. Молодые, как-то сразу объявившиеся в литературе по всей стране, могли путаться в литературных теориях и ошибаться по незрелости, но всем своим не по возрасту большим жизненным опытом эти молодые были крепко связаны с Советской властью, с большевиками.

Как-то мы, несколько молодых писателей, пришли в начале двадцатых годов на одно литературное собрание. Среди

малознакомых и совсем незнакомых нам людей оказалась Лидия Сейфуллина, только что прогремевшая тогда на всю страну своими «Перегноем» и «Правонарушителями». Сейфуллина поселилась тогда в Ленинграде. Она сидела в стороне от других с хмурым, даже сердитым лицом, чувствуя, видимо, некую чужеродность общества, в которое попала, общества, в котором было больше воспоминаний о прошлом, чем мыслей о настоящем и будущем. Завидев нас, она заулыбалась и стала манить к себе.

— Свои, — сказала она радостно, когда мы уселись рядом.

Вот я и говорю сейчас о тех молодых, о ком можно было с полным правом сказать «свои». «Свои» — это означало кровное сродство с революцией, общность опыта, настроений, соединявшие сразу, по чувству, после первых же слов. «Свои» — это те, кто принимал живое участие в войнах и в революционных событиях, кто был, говоря на кратком языке тех лет, «красным». Жизненный опыт — огромный, литературный — далеко не достаточный. Но напор глубоко, органически воспринятых впечатлений был таков, что в то стремительное время рост писателя происходил с фантастической, небывалой в истории быстротой. Вчера — почти ничего не написано, сегодня — как прорвало, завтра — уже знаменит. Особенно ярко проявились эти темпы у Всеволода Иванова.

На своих собраниях мы критиковали друг друга при случае нещадно. Должен добавить, что не пожалели мы и Всеволода. Однажды он явился к нам очень оживленный, особенно уверенный, видимо, в удаче, развернул рукопись и — о ужас! — поэма! И какая! Как будто Шаляпин запел вдруг фальцетом. Мы обрушились на бедного автора со всем недобавием, со всей беспощадностью молодости. Он молча слушал, только опустил голову. Не возражал. Сунул рукопись в карман шинелки и тихо пошел. Потом он рассказывал,

что на пути домой он бросил рукопись в Неву. А в следующую субботу он прочел нам новый прекрасный рассказ и пожал все лавры очередного успеха. Кое-кто из нас, правда, нет-нет да язвил его цитатами из неудавшейся поэмы, но Всеволод в ответ только молча улыбался. Как и у всех сильных, незаурядных людей, мелочности в нем не было никакой, а отличал он беззлобную, дружескую насмешку от подлинной обиды безошибочно. В нем, молодом, уже тогда лежало золотым слитком какое-то особое, умное и, я бы сказал, мудрое отношение к жизни. Он казался самым старшим из нас.

Говорил он языком, необычным для Петрограда, слова при этом плотно пригонял одно к другому, без «эканья» и «мэканья». Он, «сибирский мамонт», был настолько красочен и своеобразен, что иная бойкая девица считала своим долгом выражать при знакомстве с ним кокетливый ужас:

— Это вы?! Боже мой! Я боюсь!..

Всеволод однажды ответил на эту игру так:

— Не беспокойтесь. Я вас не потрогаю.

Нам очень понравилась эта словесная формула.

Опыт у Всеволода был большой и жестокий. Бывало, он рассказывал нам о пережитом, виденном, слышанном словами вескими, взвешенными, тяжелыми. Он говорил правду, ничего не преувеличивая, но и не преуменьшая. Переданная его ярким талантом в рассказах и повестях, правда эта производила ошеломляющее впечатление. Не будем сравнивать его опыт с опытом его молодых друзей, которые тоже ведь прошли войны и революцию не у себя в комнате, — большинство из нас знали и фронт, и раны, и голод, и холод, и прочее, что положено было нашему поколению. Но, как мне кажется, в сильной душе Всеволода испытания, общие для многих начинающих прозаиков того времени, переработались быстрее, чем у других, и он, смахнув паутину литературных

навыков прошлого, еще мешавших некоторым из молодых, ясно увидел путь в литературу, смело шагнул в новое, неизведанное, пошел по непаханой целине и дал пример всем. Вот он и казался вроде как самым старшим. Вхождение его в литературу было блистательным. Через два-три года он был уже очень известен, количество статей о нем росло, его произведения переводились на иностранные языки.

Через всю жизнь пронес я впечатление от первых вещей Всеволода Иванова и от него самого, тогдашнего. Да и как может быть иначе! Ведь в те вечера в Доме искусств, когда читались горяченькие, только что написанные рассказы, повести, стихи еще только начинавших Всеволода Иванова, Федина, Тихонова, Зощенко, Каверина, Никитина, Полонской и других, — ведь те вечера были временем рождения советской литературы, новой, революционной литературы. И перекличка с Москвой, с Сибирью, мгновенно возникающая дружба молодых из разных городов и весей — все это неизбежно. «Свои» — это были не только молодые, сливалось с нами немало и «стариков». Был же случай, когда один — тоже молодой — критик восторженно провозгласил появление в литературе нового, замечательно талантливого молодого писателя... Вересаева. То было молодое время.

К середине двадцатых годов Всеволод переехал в Москву, где мы преимущественно после того и встречались, ибо в Ленинграде Всеволод появлялся редко. Первый период его творчества и жизни ошутимо уходил в прошлое. Всеволод сменил уже гимнастерку на пиджак, ушанку — на шляпу и подшучивал над собой. «Очень хочется пощелкать семечек, а хотел вчера купить — устыдился. Господи, до чего мы опустились...» — пишет он мне в августе 1924 года из Ялты. С добрым чувством говорит он о Федине, который в ту пору завершал свой роман «Города и годы»: «Косте я не пишу, не

желая отрывать его от окончания 18 листов. В тяжелой дороге смеяться запрещается...» Глядя на море, вспоминает вдруг первое объединившее нас издательство «Круг»: «Вчера волны были выше, чем стремления „Круга“ в начале его деятельности, сегодня они более степенны, а завтра наступит спокойствие. Вообще море походит на сгущенное молоко...»

«Тяжелая дорога», «опустились», «спокойствие» — Всеволод жил в новых поисках. Возможность «спокойствия» возмущала его, и не хотел он, чтобы бурное море стало сгущенным молоком. А известность его росла с каждой новой книгой. Писал он много и хорошо.

Он держал крепкую связь с Ленинградом. Его книги выходили в ленинградском издательстве «Прибой», в Издательстве писателей в Ленинграде, организованном нами. Он направлял нам со своими рекомендациями рукописи московских писателей.

Осенью 1929 года Издательство писателей в Ленинграде обратилось к Всеволоду Иванову с просьбой дать статью в сборник «Как мы пишем». Он ответил мне: «Дорогой Миша, статью о том, „как я пишу“, сделать я не могу — 1) поелику, считая себя изобретателем, я открывать методов своей работы не желаю, 2) поелику я еще сам не знаю, в чем заключаются эти методы и не являюсь ли я бледной копией почтенных наших классиков, 3) поелику я считаю самым важным сейчас для писателя не „как“ писать, а „что“ писать...» Всеволод в свойственной ему манере посмеялся над собой, надо мной, но написал под конец без всякой насмешки о самом главном и серьезном — о важности «что» писать. «Что» всегда, впрочем, было для него самым главным, и чем дальше, тем заметней это становилось.

Да, Всеволод был в новых поисках. Постепенно успокаивался, уравновешивался его стиль, сквозь буйную, цветистую

прозу все явственней проступало размышление, менявшее тон повествования. Он много ездил по стране, все глубже проникая в то, как преображалась жизнь в первой пятилетке. Осенью 1933 года он писал мне, например: «Ездил в Ярославль. Испытал крупное удовольствие. Я был там 4½ года тому назад, а сейчас иной город. Такие заводы забухали — голова кружится. И народ замечательный...»

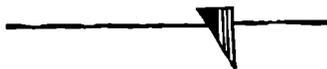
Отношения с Горьким у него всю жизнь были трогательно любовными. И в письмах ко мне я нахожу строки об Алексее Максимовиче. Вот пишет он в декабре 1933 года: «Сегодня приехал на несколько дней в Москву А. М. Горький. Он очень поправился и веселый и, как всегда, отличный мужик...» Или в феврале 1934 года: «Я был у него дня четыре тому назад, старик очень бодр и весел, — рассказывал очень веселые повести...» Только иконописец-догматик не увидит в этих «неположенных» по отношению к великому писателю словах — «мужик», «старик» — нежной любви и уважения ученика к учителю. В 1936 году Горький умер. Когда эта страшная весть пришла в Ленинград, мы, ленинградцы, помчались в Москву. У гроба стоял Всеволод Иванов, бледный, осунувшийся. Слезы непрерывно текли из его глаз. Лицо было неподвижно. Можно сказать, я думаю, что Всеволод был любимейшим, во всяком случае — одним из самых любимых Горьким писателей среди молодых, пришедших после Октября.

Всеволод Иванов шел в жизни и в литературе трудной дорогой пионера, первопроходца. Его творчество оценено еще не полностью, не в полном объеме.

1964



# БОРИС ПИЛЬНЯК



мя Бориса Пильняка ярко вспыхнуло в рождавшейся в 1920—1921 годах советской прозе, он взошел на литературном горизонте, как звезда первой величины.

Большой, рыжий, с рыжими веснушками, в роговых очках, он и ходил-то по-особому, наклонившись вперед и как-то загребая длинными, с рыжим волосом до пальцев, руками — то ли как охотник, идущий на медведя, то ли как медведь, идущий на охотника. Приехав в 1921 году в Петроград знакомиться с нами, «Серрапионовыми братьями», он внес в наш

литературный обиход дух, называвшийся тогда «стихийничеством» и более характерный для московской писательской среды, чем для сдержанного Петрограда, склонного к организованности и стройности даже и в эксцентрических затеях того времени. Пильняк ненадолго, но ощутимо повлиял на Н. Никитина, старался подружиться с Всеволодом Ивановым, с Фединым, на остальных прищурился, присматриваясь.

Там, где он появлялся, возникало особое оживление. Вокруг него кучились и толпились поклонницы и поклонники, готовые тоже быть «стихийей» и проявлять бурные страсти. «Захватила стихия», «понесла стихия» — такие объяснения в ту пору считались вполне достаточными при внезапных поворотах и неожиданных поступках людей.

В свите Пильняка, меняющейся, но всегда красочной и разнообразной, попадались и совсем, казалось бы, неподходящие для «стихийного» поведения фигуры, такие, как, например, старый литератор П. Губер, восторженно встретивший первые вещи Пильняка, или сатириконец В. Азов. Появление Пильняка в любом обществе тех лет означало то ли вихрь, то ли водоворот, который грозил завлечь, захватить, закрутить.

Пильняк начал реалистическими рассказами, а затем безотчетно отдался революционной лаве тех начальных лет и, стремясь передать ее буйство, ломал все литературные каноны, рвал в клочья форму, подавал жизнь в своих произведениях совсем на вид несобранными кусками.

— Что же это? — удивлялся кротчайший Вячеслав Шишков. — Как будто забрал лопатой и бросает в воздух без разбора что попало! Тут и земля, и грязь, и глина... Так нельзя.

Пильняк, видимо, считал, что так не только можно, но и должно. Похоже было, что для него жизнь была — бурный

поток, в котором катастрофически сталкиваются и сшибаются люди и события. А если что сцепляло всю эту несущуюся массу, то опять-таки все та же революционная стихия. Его рукой водила безудержная, почти разбойничья сила, покоренная и не покоренная революционной мечтой, рождавшая то страстные чувства и мысли, то вдруг смертную тоску.

— В последней повести я до чего договорился — до Коминтерна! — говорил он, как бы удивляясь тому, что сам же и написал, и радуясь, что дело у него дошло уже и до Коминтерна. И было понятно, что он стремится во что бы то ни стало выразить организующую силу революции, но его — «несла стихия...»

От кого он шел? Кто были его учителя? Сам Пильняк называл А. М. Ремизова. Но мелькала блоковская метель — по-пильняковски трансформированная. Чувствовался иногда Бунин — но взъерошенный, соскочивший в рытвины и ухабы, с разрушенной внутренними взрывами стилистикой. Возникал в ритмах полубезумный Андрей Белый, но исчезал, изгнанный накалом грубой жизненной силы. Сыпнотифозный поезд выкатился прямо из жизни на страницы пильняковского романа «Голый год», романа, который поразил, ужаснул, как самородный кусок живой и страшной правды.

— На сто лет написано? — спрашивал Пильняк, поворачивая голову то к одному, то к другому из окружавших его после выхода книги людей. Было это, кажется, в издательстве «Круг», в Москве. — Сто лет проживет? продержится?

И он подкидывал на большой ладони книгу, как бы испытывая ее вес и крепость.

Один из поклонников воскликнул восторженно:

— Не на сто лет, а навсегда! Навеки!

Пильняк остановил на нем свой взгляд (казалось, глаза его были такие же большие, как стекла очков) и промолчал.

Он был умней своих поклонников. Он умел сомневаться в себе и не верить в долговременность успеха. Да и так ли уж занимала его эта разом вспыхнувшая, как солома от спички, слава? Его самого рвала на части бушевавшая в жизни и в нем самом стихия, разломанная революцией психика, его раздирали поселившиеся в нем толпы бунтарей. Он вглядывался в разноголосую, разнолицую тогдашнюю Россию, стремясь поставить в центр того нового человека, который воплощал в себе слитые воедино революционную мысль и чувство, «человека в кожаной куртке», который «энегрично фукирует» (им первым схваченный образ, его вошедшие тогда в обиход определения). Но этот человек был только назван им.

Казалось, что Пильняк не хозяин, а жертва «стихий», бушевавших в сознании людей. Эти «стихийные» люди кричали, боролись, сражались, тосковали, мечтали, рассказывали о своих радостях и о своих муках его голосом, и он кричал о них на весь мир, который уже прислушивался к нему, как к литературному набату огнедышащей русской революции. Его «Голый год» и другие вещи переводились на многие языки.

Горький сначала очень отметил Пильняка, по приезде в Петроград Пильняк жил у Алексея Максимовича. Потом Горький серьезно критиковал его произведения. Как-то Алексей Максимович уже из-за границы переслал через меня письмо Пильняку. Я передал. Пильняк прочел и, повесив большую рыжую голову, вымолвил:

— Обругал меня великий человек. — Он был огорчен. — Обругал...

Он присел на случившийся возле стул и стал ненадолго тихим, задумался, присмирел.

— Алексей Максимович нас тоже критикует, — заметил я.

Пильняк взглянул на меня сквозь чистые стекла очков и отозвался как будто невпопад, но по ходу своих чувств логично:

— «Варшава» у тебя ничего. — Это мне в ответ на нотку утешения, сочувствия. И тотчас же — отстраняя, ставя барьер: — Но все равно ты — интеллигент. Ты не из поляков?

Разговор был где-то на ходу — мы часто ходили группами из дома в дом, от приятеля к приятелю, пока не наберется достаточно народа для того, чтобы можно было учинить в Доме искусств или еще где-нибудь литературную дискуссию между собой, без публики.

А. Воронский любил Пильняка и выдвигал его. Но далеко не все признавали Пильняка. Бывали против него весьма грубые выпады и в жизни. Однажды, помню, знаменитый датский писатель Мартин Андерсен Нексе, приехав в Россию, пожелал встретиться с петроградской литературной молодежью. Встреча в одной из гостиных Дома искусств была не парадная, простая. Пильняк как раз находился в ту пору в Петрограде и взялся представить каждого из нас, говорил, в частности, об участии каждого в войнах и в революции. Переводчик (кстати, он был в черной кожаной куртке) передавал все точно. Под конец Пильняк в своем размашистом стиле, но без всякого хвастовства, совершенно правдиво сказал и о себе, упомянул и о том, что в сыпнотифозных поездах он сам ездил. То, что Пильняк говорил о себе, переводчик свел к одному, хлестнувшему, как хлыст по лицу, слову:

— Мешочник.

Это была неправда, мы тотчас же вступились и поправили переводчика. А тот криво усмехался, тощий, остролиций, ошетинившийся колючей иронией. Не знаю, почему он

так резанул Пильняка, может быть вся эта «стихия» была круто противопоказана ему. А Пильняк слегка побледнел от неожиданного, незаслуженного оскорбления. Он затих, даже сник как-то.

Первым из советских прозаиков Пильняк отправился за границу — завоевывать Европу. На прощальном вечере, на проводах поэт Александр Кусиков, ходивший в экзотической форме «дикой дивизии», лихо сплясал на уставленном посудой, полным яств столе лезгинку, не задев ни одной тарелки, ни одной рюмки, — это был его обычный номер на всех такого рода сборищах. Было шумно, пьяно, и Пильняк ходил от одного к другому, переваливаясь, как медведь, трепал за плечи, целовался и прямо с этого пиршества уехал на вокзал.

Кусиков тоже был в те начальные годы «стихийником». Но в 1927 году, в Париже, подошел ко мне после литературного вечера советских писателей человек в шляпочке, в кургузом, черном, как траур, пиджачке и потрепанных брючках, маленький, тощенький, жалконький какой-то. Он вымолвил тихо и неуверенно:

— Кусиков. Помните? Не узнали?..

Где его кинжал? Где бурка? Где лихие танцы?.. Печальные глаза. Унылый вид. «Где ж твоя улыбка, что была вчерась?..» Да, оказалось возможным и такое превращение «стихийника». Случалось и так. Но не с Пильняком. Пильняк после звонких походов по Европе, Азии, Америке появлялся в Москве, в Ленинграде с рассказами, очерками, повестями. Он не мог долго оставаться за границей. Он мог дышать только воздухом России и революции. Но со своей стихийностью, разболтанностью, какой-то воспаленностью он, навсегда обожженный огненными годами гражданской войны, справлялся с огромным трудом. Он искал упор-

но, находил, терял, шел к новому стилю, который отвечал бы новому восприятию жизни, вызревавшему (а может быть, и вызревшему?) в нем. Жизнь шла к первой пятилетке, разум заявлял о себе все сильнее, армия ученых, инженеров, рабочих, крестьян шла в наступление, молодежь бредила индустриализацией, строились новые заводы и города. Пильняковский стиль все больше оттесняло в сторону, и Пильняк это понимал, он ездил, изучал, менялся.

Было в нем нечто от старой России. Не всегда он шумел. Он бывал тихим, уютным, простым, задумчивым, таким, каким он представлялся по первым своим — кстати, превосходным — рассказам. Он был, например, таким, когда как-то в двадцатые годы привел ко мне в гости французского писателя Шарля Вильдрака. Сначала позвонил по телефону:

— Сидим мы тут в номере, смотрим друг на друга, хочется провести вечерок среди хороших людей. Позови друзей, а мы придем.

Сошлись большим обществом, человек двадцать пять — тридцать. Ольга Форш охотно помогала всем, кто не владел французским языком, переводила. Беседовали, потом ужинали. Получился спокойный, дружеский вечер. Как всегда, блистал остроумием Евгений Шварц. В большой разговор с французским гостем вступил Федин. Собралась преимущественно молодежь, поэтому немножко потанцевали. И Пильняк был веселый, семейный. У нас был огромный самовар, и когда дело дошло до чая, то возникла проблема — как этот пышущий жаром самовар принести и поставить на стол? Пильняк весь загорелся, всех отвел, ухватил самовар и понес его — умело, внимательно, отдохновенно, сильными и ловкими руками. И подумалось тогда — может быть, чтобы утвердиться, найти себя заново, надо Пильняку

немножко отступить в прежние, самоварные времена, чтобы подумать, поразмыслить, чтобы улеглись в нем чересчур возбужденные силы, а затем вновь шагнуть уже уверенным и твердым шагом вперед. Почему-то так подумалось, когда я глядел на Пильняка, сияющего, умиротворенного, с кипящим самоваром в руках.

Пожалуй, никто из писателей того времени не был так безраздельно захвачен «стихийничеством», как Пильняк. Ему становилось все трудней. Его критиковали нещадно. На первом писательском съезде он еще держался. А затем атмосфера еще больше накалилась.

Вспоминаю какое-то многолюдное, не деловое, а парадное собрание в Москве. Издали я увидел Пильняка, подошел, мы сели рядом. Он сидел, поникнув головой, молчаливый, обмякший, непохожий на себя, и печать какой-то обреченности лежала на его осунувшемся, посеревшем лице. Что ему было делать, медведю — без леса, охотнику — без медведя?.. Он сидел склонившись, сунув руки между колен, весь как будто сжавшись в ожидании удара. Ведь и на парадном собрании кто-либо из ораторов мог вдруг вонзить в сердце слово-нож, ошельмовать походя и насмерть.

Что было делать Пильняку? Он был арестован и погиб.

Я не критик, не оцениваю его книг, мы были с ним очень разные. Но вместе со всеми он, как бурлак, в крови и поту, тянул бечевой наш первый советский литературный корабль, тащил его в революционное русло, спотыкаясь, падая, вставая, вновь падая и вновь вставая. Он искал новые, революционные пути в самую изначальную пору рождения советской литературы, когда еще очень многое, что сейчас ясно, совсем не было ясно. Он, как неутомимый разведчик, блуждал, ошибался, находил, страдал, радовался, преисполненный отчаянной любви к России и к революции, и слова

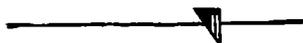
шли у него выстраданные, жаркие, в судорогах рожденные. И он трагически погиб, не договорив того, что мог бы еще сказать.

Борис Пильняк посмертно реабилитирован. Может быть, люди, товарищи, которые знали его ближе и глубже, чем я, расскажут о нем лучше и правильней.

*1964*



ЭТО  
БЫЛО  
В  
ДОМЕ  
ИСКУССТВ



НИКОЛАЙ  
НИКИТИН



Никитина признали с самых первых его рассказов одним из подающих большие надежды писателей. На конкурсе Дома литераторов в Петрограде в 1921 году первую премию получил Константин Александрович Федин за рассказ «Сад», а вторую — Николай Николаевич Никитин за рассказ «Подвал». «Старики» шутили, соединяя первые слоги его имени, отчества и фамилии: «Ник-ник-ник — это вызывает доверие». Критики подхватывали каждую опубликованную вещь Никитина, хвалили (даже восхваляли), ругали (даже иногда очень). На-

чало его литературной деятельности было, можно сказать, бурным.

Революционная Россия заговорила в 1921 году голосами очень разных прозаиков (советская поэзия родилась раньше), и особенно привлекали читателей и литераторов голоса так называемых «нутряных» писателей. Так тогда говорили — «нутряной», «нутро», сочетая в этих словах понятия стихийности и почвенности, органического, кровного сродства с революционным народом. К числу этих «нутряных» писателей критики и читатели сразу же причислили Николая Никитина.

«Серапионовы братья» прозвали Никитина «брат-ритор» за склонность к речам и рассуждениям, не всегда ясным, но всегда темпераментным. Высказывая свои мнения об очередных произведениях товарищей, он обязательно вставал и начинал расхаживать, размахивая руками. Он наткнулся на стулья, переступал через ноги, но говорить сидя все равно не мог. Ему было тесно, не доставало простора. Его распирало от мыслей и чувств, он изливал свои впечатления с чрезвычайной горячностью, с огромной серьезностью. Он возносился к общим идеям, и мы слушали о «диффузии идей», обо всем, что мучило и радовало его, подавали реплики, возражали, соглашались, и возникал тот шум, который очень беспокоил почтенных жителей Дома искусств. Я не оставался после собрания один, а уходил вместе со всеми. Мы спускались по темной лестнице во двор, и звонче всех голосов звучал голос Николая Никитина. Шапка сбита к затылку, пальто распахнуто, пестрый шарф развевался на ветру, а в речах — все меньше общих рассуждений и все больше лично пережитого, испытанного, виденного, все ярче выступали живые лица людей, все резче вырисовывались контуры будущего произведения. Никитин как бы

репетировал, проверял то, что зрело в нем, и через неделю-две мы, слушая его новую вещь, узнавали в ней кое-что из того, что он нам рассказывал до чтения.

Стихия бушевала в первых его вещах, переклестывала через край. Густая, узорчатая словесная вязь его первых рассказов рвалась под этим напором. Никитин, бывало, захлебывался в словесных орнаментах, и не только так называемые «областные речения» подчас вскакивали в его произведения, но и такие слова, каких не сыщешь ни у Даля, ни в каком-либо другом словаре. Но даже в излишествах его тогдашнего стиля ключом бил свежий, молодой талант.

Все в нем взболтано было в ту пору, все бурлило, кипело. Огорчался он столь же откровенно, как и радовался. Помню, как он жаловался однажды, выпячивая нижнюю губу, что придавало его лицу несколько обиженное и как бы удивленное выражение:

— Встретил в поезде читателя из Твери. Ругал меня. Другой — из Луги. Тоже ругался. А третий стал защищать. Но он думал, что я тот, который — «вырыта заступом яма глубокая...»

В бурных проявлениях никитинского таланта была здоровая и ясная основа. Как-то летом 1922 года Никитин закончил письмо ко мне словами: «Мы близки революции... В этом — радость». Сознание сродства с революцией контролировало его работу и его поведение. Этому чувству он никогда не изменял, оно вело его в жизни и в литературе при всех метаниях, поисках, ошибках, заставляло соглашаться со справедливой критикой. Радость жизни переполняла душу, Никитина тянуло к друзьям, он не был один, он ненавидел одиночество, все в нем было обнажено, он был очень открытый человек. Была в нем жадная страсть

к узнаванию все новых и новых людей и дел нового, только что родившегося мира — страсть, гнавшая в близкие и дальние путешествия. Стремление познать революционную перестройку жизни уводило его все дальше от прошлого, привычного, насквозь известного.

Были в ту пору всякие крайности в поисках нового. Помню, как художник Татлин, человек талантливый и очень странный, друг и фанатический поклонник Хлебникова, угро-варивал меня как-то стать пропагандистом изобретенной им новой «вселенской одежды». Это был какой-то балахон, описать который я сейчас не берусь. Во всяком случае, выход на улицу в этом в высшей степени «революционном» балахоне, призванном, по мысли его автора, символизировать Интернационал, вызвал бы, наверное, ликование и улюлюканье всех встречных мальчишек и кончился бы, возможно, в отделении милиции. Вспоминаю и одного балетного революционера, который уверял, что если все люди на земле сговорятся в один и тот же миг сделать одно и то же открытое им па, то произойдет полное моральное оздоровление человечества и победа большевизма во всем мире. Увы! Я этого па не запомнил. «Завихрения» были в те времена разнообразны и комичны, но авторы их ничего смешного в своих проектах не видели и очень даже обижались, когда мы смеялись в ответ на их откровения.

Конечно, Никитин в своих поисках нового в жизни и в литературе никак не был подвержен таким чудачествам, хотя иным «старикам» и могло показаться, что он сокрушает все, что было, без остатка. Нет, когда пришло время, Никитин сменил военную гимнастерку отнюдь не на «все-ленскую одежду», а на пиджак и брюки, весьма, кстати, по тому времени модные, и приобрел вид представительного,

даже элегантно, и уж во всяком случае вполне добропорядочного молодого человека. Танцевал он на наших вечеринках (и прекрасно танцевал) вальс, польку, вошедший тогда в моду «советский тустеп», а никак не старался выделять неслыханное па, способное мгновенно произвести мировую революцию. Нет, его «стихийничество» отрицало все, что было нереально, беспочвенно и попросту истерично. Он быстро излечивался от излишеств, от литературной «кори», от детских болезней того времени. А ведь каких только литературных «завихрений» не было тогда! Одни «ничевоки» чего стоили. И сколько глупостей высказывалось молодыми людьми!..

Уже в самом начале своей литературной деятельности Никитин обнаруживал большое понимание театрального искусства. Это выражалось даже и в развлечениях, которые мы устраивали. К нашей компании в начале двадцатых годов присоединился молодой артист Евгений Шварц. Он приехал в Петроград вместе с ростовским театром на гастроли и быстро сдружился с нами. Он стал участником и организатором молодых наших игр, такой киномодеятельности. Он сочинял сценарии фильмов, а мы разыгрывали их, на ходу импровизируя текст. В этих «кинофильмах» участвовали и наши гости и наши друзья. С самозабвенным упоением, соглашаясь играть «роли» даже неодушевленных предметов, изображали все, что угодно, дети. Никитин оказался в этих представлениях одним из лучших артистов. Однажды, когда по сценарию ему надо было объясниться в любви, он не просто опустился на колени, нет, он появился на сцене в шубе (это было не предусмотрено автором сценария), деловито снял шубу, внимательно уложил ее на диван, затем со степенной медлительностью встал на колени, проговорил с уравновешенным, внушительным пафосом

нужные слова и, солидно поднявшись, тщательно почистил запыхавшиеся брюки. Затем надел шубу и вытянулся во весь свой невысокий рост перед девушкой в ожидании ответа. Очки его поблескивали в свете люстры, лицо окаменело в самодовольной уверенности. Шварц тотчас же подхватил предложенный Никитиным образ и соответственно повел действие дальше.

Никитин сыграл мещанина очень зло, точно и, я бы сказал, скульптурно. Эпизод этот запомнился мне особо, потому что в нем сказался будущий драматург.

На молодую советскую прозу сразу же, без подготовки, свалилась широкая известность. Многие ждали нового слова прежде всего и главным образом от молодых, от тех, кто непосредственно участвовал в войнах и революции, кто пришел из Красной Армии и советских организаций, кто испытал на себе, знал изнутри все, что совершилось, и теперь, по окончании гражданской войны, пытался все пережитое выразить в художественной форме.

М. Горький в марте 1923 года, то есть всего лишь через два года после никитинского дебюта, характеризуя группу молодых писателей Ленинграда, писал в бельгийском журнале «Disque vert» (№ 4—6): «...Всеволод Иванов и Николай Никитин уже нашли определенное место в современной русской литературе, оба они — особенно Иванов — пишут много и весьма популярно. Они перегружены впечатлениями хаотического бытия России и не совсем еще научились справляться со своим богатейшим материалом...» Говоря о некоторых недостатках творчества Иванова и Никитина («щегольство провинциализмами языка», увлечение «местными словарями пестрой России»); Алексей Максимович далее пишет: «...Успех не опьяняет их, наоборот: они скорее напуганы им и единодушно пишут мне: «Нас очень

хвалят, и мы чувствуем, что это нехорошо для нас». Это — искренне сказано. Я вижу, как оба они стараются преодолеть хаос своих впечатлений».

«Половодье чувств» входило у Никитина постепенно в свои берега. Очень эмоциональным, восприимчивым и реактивным Никитин оставался всегда, но все сильнее и ошутимей вступал в дело контроль разума.

В 1931 году в Ленинграде в тогдашнем Союзе писателей возникла литературная дискуссия, в которой горячее участие принял и Николай Никитин. Вспоминая первые годы советской литературы, он говорил о «стихийности» уже как о прошлом. Он повел речь о «пути разума», о том, что «нужно пойти от разума к сердцу». «Понятно, — говорил он, — что во время этой ломки, во время переделки самого себя, во время катастрофического своего пути, может быть, на первых порах мы что-то потеряем от своей непосредственности, от так называемой свежести, от анархической свежести в кавычках, но это совершенно законная вещь... Лучше потерять в свежести, чем потерять в истории».

Мне всегда казалось это выступление Никитина весьма значительным проявлением наступившей зрелости. Это было расставание со стихийностью, с буйством чувств, обращение к разуму, к мысли как к чистому роднику. Ничего неожиданного для знавших Никитина в том его выступлении не было, но продуманное, прочувствованное за последние годы выразилось в точных формулировках.

Тогда же Никитин сказал так:

— Творчество писателя — это его песнь, песнь судьбы. Песнь его судьбы будет песнью его класса, если он в этом классе, если он своей судьбой связан с судьбой своего класса...

Пришла зрелость, пришли серьезные и глубокие размышления. Написанные в тридцатые годы книги Никитина «Поговорим о звездах» и «Это было в Коканде» — умные, талантливые, зрелые произведения мастера. Вспоминаю, как, читая роман «Это было в Коканде», я находил — да и то редко — только чисто внешние остатки прежней никитинской «стихийной» манеры. Например, фраза разбивалась почему-то на две строки. Это было, может быть, естественно для первых вещей Никитина, но не для этой. Никитин, устраняя инерцию прежних излишеств, смеялся:

— Шелуха. Легко сдувается.

Песнь никитинской судьбы — это песнь о том, как улеглась и вошла в русло разума поднятая революцией стихия, песнь об органическом росте человека революционной эпохи.

Творчеством своим Никитин участвовал во всех значительных событиях нашей жизни, много работал в общественности, писал не только книги, но и статьи и очерки в газетах.

В 1957 году Никитин, садясь в самолет, чтобы лететь с делегацией Комитета защиты мира в Чехословакию, потерял сознание. В Ленинграде успешная операция спасла его. Но из года в год он слабел — сердце, легкие... Он, преодолевая болезнь, читал рукописи, выполнял общественные обязанности, продолжал писать, работать. Но все чаще приходилось бросать перо, ложиться, пересиливать боль. «Мне грустно и нехорошо», — это единственная жалоба, которую я нахожу в его последних письмах и записочках. В его приглашениях зайти нет-нет да зазвучит молодая безудержность — «я буду нечеловечески рад и счастлив...» И, оживляясь, он вставал с дивана, начинал шумно разговаривать,

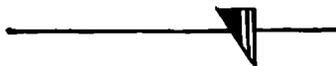
спорить, горячиться, совсем как когда-то давно, в Доме искусств...

Но это были уже последние ноты в песне его жизни. Песнь судьбы Николая Никитина — в написанных им книгах.

*1964*



# МИХАИЛ ЗОЩЕНКО



1



1919 году в литературной студии, которой руководил К. И. Чуковский,

появился молодой человек небольшого роста с красивым, темным, как на матовой фотографии, лицом, по фамилии Зощенко. Он обратил на себя внимание своим болезненным видом, молчаливостью, некоторой упрямой обособленностью. Ходил он, опираясь на палочку. При этом в походке его замечалось иногда нечто чуть ли не фатоватое, а при случае и настороженно-гордое, готовое к отпору. Тем-

ный полувоенный костюм свой он носил с известным шегольством. Девушки немедленно нашли в нем сходство с князем Андреем из «Войны и мира» и очень быстро раз узнали кой-какие подробности его биографии.

В рассказе «Рука ближнего» Зошенко писал: «Дозвольте изложить эту правдивую историю старому рубаке, участнику гражданской войны, бывшему полковому адъютанту Восьмого образцового полка деревенской бедноты». В этих словах не выдумка, а истинная правда. Был Зошенко и рубакой и адъютантом.

Сын известного художника-передвижника, он в 1915 году стал «офицером военного времени», как тогда называли некадровиков, был на фронте начальником пулеметной команды, командовал батальоном. Доброволец Красной Армии, он действительно был адъютантом полка деревенской бедноты. Контуженный, отравленный газами, большой пороком сердца, он после военной службы работал кролиководом и куроводом, милиционером, сапожником, агентом уголовного розыска, а в то время, когда студия с Литейного, где помещалась вначале, переехала во вновь организованный Дом искусств на углу Невского и набережной Мойки, он служил в петроградском военном порту. У него была самая богатая биография из всех студистов. Во всяком случае, профессий он перепробовал больше всех. И вот двадцати пяти лет от роду он стал писателем.

В самом начале 1921 года он прочел нам, «Серапионовым братьям», один из первых своих рассказов. Рассказ назывался странно — «Рыбья самка», и были в нем такие слова: «Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу...» Печальный облик автора, его тихий, можно сказать — меланхолический голос как бы подчеркивали эту великую грусть, но в интонациях, в от-

дельных словечках звучала такая насмешка автора над своими героями, что мы невольно смеялись.

«Ой, — сказал поп и дверь прикрыл тихонечко...» Что было тут смешного? Но тон всего рассказа, самый выбор слов заставляли смеяться и запоминать иные, казалось бы, ничего особенного не заключающие в себе фразы. Они возникали где-то на гребне стилистической волны, как кульминация и вывод, подспудно подготовленные и обоснованные, и, может быть, потому и выделялись, оставались в памяти, получали значение общее.

Чем дальше, тем яснее и прозрачнее становился стиль Зоценки. Некоторые выражения его входили уже в наш обиход. Пока что — только в наш.

— Не для цели торговли, а для цели матери, — говорили мы, когда затевали какое-нибудь общественное дело.

На стук в дверь отвечали опять-таки из Зоценки:

— Entrez,<sup>1</sup> Машенька...

Зоценковский язык обволакивал, завораживал — уж очень он оказывался пригодным в самых разных случаях жизни.

Потом заговорил Назар Ильич господин Синебрюхов — герой первой книжки Зоценки:

— В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю. А вот из иностранных держав про Польшу знаю...

В шум, гром и сумятицу рождавшейся советской литературы вошел тихий, упрямый, крепнувший от рассказа к рассказу голос Зоценки, особый, свойственный только ему и никому больше. И мы, молодые той начальной поры, обрadowались этому свежему голосу, обещавшему еще не слышанную нами музыку.

Да, это была не какая-нибудь игра в литературу с фо-

---

<sup>1</sup> Войдите (*франц.*).

кусами и выкрутасами, это — всерьез, это вот и есть та самая настоящая, неподдельная художественная проза, самородная, подлинная, новая, говорящая о сегодняшнем, идущая от сердца, а не просто из чернильницы, и новизна ее соразмерена с реальной действительностью, растет из нее, а не носится оторванно от всего на свете, как какие-нибудь «ничего» или другие неслыханные новаторы тех времен. Так чувствовалось, когда Зощенко читал у нас свои рассказы.

В первых вещах его было больше печали, чем юмора, как будто автор сомневался, уместно ли смеяться в такое напряженное и трудное время. Он был словно несколько подавлен всем, что пережил, и не знал еще в точности, как распорядиться тем жизненным опытом, которым эпоха одарила его. Он вызывал чувство уважения к тому, что привелось ему испытать, желание помочь и некоторые опасения за его здоровье и жизнь.

К литературной работе он относился с величайшей серьезностью. На одном из первых наших собраний не помню кто — кажется, кто-то из гостей — заявил сгоряча после того, как Лев Лунц прочел свою пьесу «Вне закона»:

— Наконец-то я слышу здесь не пустяки, не детскую игру, а настоящее, подлинное литературное произведение!

А на прошлом собрании читал Зощенко!

Лицо у Зощенки почернело, он поднялся, схватился маленькой своей рукой за грудь и запротестовал. Можно как угодно оценивать то, что пишут другие, но обвинять в легкомыслии, в какой-то игре, в халтуре — это недопустимо! Зощенко имел вид бретера — вот-вот вызовет на дуэль!

Мы его очень поддержали, в том числе и Лунц. Но сразу же выяснилось, что гость не имел дурных намерений, что он просто неудачно выразился, что он очень просит извинить его...

Зощенко затих, посидел мрачный, молчаливый, потом губы его дрогнули, и он улыбнулся. В улыбке темные глаза его становились обаятельно добрыми, и показывались зубы ослепительной, редкостной белизны.

С того дня мы, чуть что, смеялись:

— Зощенко обиделся!

Улыбка преображала весь облик Зощенки. Чем больше он проникался доверием к нам, его новым товарищам, тем чаще она появлялась на его лице и тем больше давал он волю своему природному юмору и в разговорах своих и в произведениях.

Он писал небольшие рассказы.

— Я на высокую литературу не претендую, — говорил он.

Слова «высокая литература» он произносил с подчеркнутой иронией, и возникали в воображении томы достопочтенной беллетристики, эпигонской, подражательной, способной приспособиться ко всему на свете, лишенной настоящего чувства и глубокой самостоятельной мысли, всего лишь имитирующей чувство и мысль, но при этом весьма претенциозной — «коммерчески приемлемой», как цинично выразился кто-то в те времена.

Зощенко в ту пору не раз заговаривал о том, что надо писать для народа, создавать народную литературу, и это были не просто слова. Чувствовалось, что это убеждение выращено всем его жизненным опытом. Доводя эту свою мысль до крайних пределов, Зощенко отказывался ставить свое имя на обложку, когда выходила его первая книжка «Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова». Исто-рию издания этой книги хорошо рассказала в своих воспоминаниях Елизавета Полонская.

В 1922 году, после закрытия Дома искусств, Зощенко и я получили комнаты в другом отсеке того же дома, на пя-

том этаже, с входом со двора, с улицы Герцена. Мы попали в большую коммунальную квартиру, где жили люди самых разных профессий. Собрания «Сералионовых братьев» перенесли из прежней моей комнаты в новую, из окна которой открывался во всю длину свою Невский проспект. Если в Доме искусств мы иной раз беспокоили своих почтенных соседей — писателей и художников — шумом споров о литературе, то тут мы оказались одними из самых тихих.

Чего только не случалось здесь! Скандал за скандалом. Милиционер часто появлялся в этой беспокойной квартире. Кухонные же склоки и свары на тему «чей ежик» происходили здесь постоянно, под этот крик и визг жили, как под неизбежный шум примуса. Здесь проявлялись в мельчайших происшествиях смешные и страшные, горькие и злые черты. И здесь, в этой коммунальной квартире, Зошенко писал своих «Уважаемых граждан» и «Нервных людей», создавал тип, получивший тогда же свое название — «зощенковский персонаж». Так животворна была сила зощенковского таланта, что грустная и злая жизнь превращалась под его пером в поучительные, обличительные и в то же время вызывающие неудержимый хохот шедевры художественной прозы.

Юмористические рассказы быстро принесли ему широкую известность. Уже не в узком кругу, а в широких массах бытовали его выражения — «отвечай, как на анкету», «собачка системы пудель» и так далее, и так далее. «Зощенковский персонаж» в течение каких-нибудь четырех-пяти лет стал столь знаменит, что людей стыдили:

— Ты прямо из Зошенки! Вот ровно такой же!

Писал Зошенко в те годы много, рассказ следовал за рассказом. Вспоминаю, как он, посидев у меня, пошел по делам в своей кепочке (он так до конца дней и не сменил кепку на мягкую шляпу). И вдруг через какой-нибудь час,

может быть — даже меньше, стук в дверь, и он появился снова у меня в комнате. Он был несколько возбужден, улыбался, в глазах как бы застыл смех.

— Понимаешь, — сказал он с некоторым недоумением, — написал сейчас рассказ.

— Как так? Ведь ты же уходишь...

— Да нет. На лестнице схватило, и пришлось вернуться. Все-таки, знаешь, — прибавил он вдруг, — это вроде болезни. Вообще от хорошей жизни писателем не становятся. Надо что-то претерпеть или вообще быть больным.

Смех в его глазах растаял.

Рассказ, который он написал тогда, был «Аристократка», одна из знаменитых его вещей.

В мелких страстях и страстишках мещанского микромира, в неожиданных и диких курьезах быта Зоценко находил и демонстрировал всем опаснейшие бактерии, отравлявшие жизнь и работу людей. Лицом к лицу со сквернами жизни, обличая их, он и сам иногда отравлялся, как отравляется рабочий на вредном производстве, например, свинцовыми белилами, или как исследователь в своей лаборатории — ядовитыми парами, или как доктор — видом ран и запахом гноя. Он уединялся, мрачнел. Люди смеялись, читая произведения Зоценки, но автору было не до смеха, ядовитые испарения душили его, как газы на войне. Однажды в таком состоянии отравления он сказал мне:

— Где-то я читал, что Фонвизин, уже полупараличный, катался в тележке перед университетом и кричал студентам: «Вот до чего доводит литература! Никогда не будьте писателями! Никогда не занимайтесь литературой!» Надо спросить Чуковского, верно ли это.

Не знаю уж, право, чего больше в юмористических рассказах Зоценки — горечи или смеха. В таких, например,

вещах его, как «Каменное сердце», льются слова до бешенства страстные.

Смех, грусть, горечь — все соткано воедино в сложной новизне его лучших произведений, в словесной вязи их. В «Истории болезни» он вдруг называет плакат воззванием, и это как нельзя лучше передает впечатление тяжелобольного человека, ошарашенного грубым объявлением: «Выдача трупов от 3-х до 4-х». «Воззвание» — это громоподобно, оно бьет в уши. В этом же рассказе фельдшер говорит: «Если вы поправитесь, *что вряд ли*, тогда и критикуйте». И это внезапное в разговоре с больным «что вряд ли» вместе со смехом вызывает буквально ужас. «История болезни» — один из тех рассказов Зоценки, в которых до предела доведено изображение грубости, крайнего неуважения к человеку, отчаянной некультурности, самодовольного невежества, душевной черствости, хамства. В таких своих превосходных и злых рассказах Зоценко выступал как подлинный гуманист и яростный обличитель, жестоко уязвленный пороками и уродствами человеческими. А если пересказать сюжет той же «Истории болезни», то он может показаться удивительно мелким, бледным, обыденным. Но Зоценко подымал самые обыденные сюжеты и «мелкие» происшествия до уровня высокого искусства — в этом его отличительная особенность и в этом, кстати, замечательная традиция русской классической литературы. Достаточно вспомнить «Шинель» Гоголя.

Время нэпа было очень трудным, и многие сбивались, спотыкались, даже падали, теряя перспективу. Резко изменившаяся жизнь создавала в повседневных буднях драматические эпизоды, совсем непохожие на те, что возникали в накале гражданской войны, но зато очень сходные с такими, которые случались в дореволюционные времена.

Мы обедали и ужинали обычно в кафе «Двенадцать». Это неповское заведение помещалось на Садовой улице, недалеко от Невского, и название свое взяло от номера дома, а отнюдь не от поэмы Блока, как думали некоторые литераторы. Днем кафе это имело вполне благопристойный вид, вечерами же, часов после десяти, оно меняло свой облик. Появлялись вору, бандиты, подсаживались к столикам проститутки. Пьяный шум постепенно заполнял большой дымный зал. Музыканты во главе с маэстро рассаживались на эстраде в глубине и веселили пропойц и растратчиков модными шимми и дикси. Парочки направлялись по лестнице во второй этаж, в отдельные кабинеты. Сцены из жизни, отброшенной, казалось бы, навсегда в прошлое, возникали тут клочками и обрывками, как в кошмаре каком-то.

Однажды вечером к нашему столику, за которым мы поедали бифштексы по-деревенски, запивая их пивом, подошла высокая молодая женщина, худощавая, с тонким лицом и большими, словно раз навсегда удивленными глазами, в полосатой мужской кепке, в светлом жакете и короткой юбке. Она поздоровалась с Зощенкой. То была его бывшая сослуживица по ленинградскому порту, машинистка. Но она уже не работала в порту.

— Меня уволили по сокращению штатов, — сообщила она.

Совершенно ясно было, чем она сейчас зарабатывает. Официант, низкорослый крепыш, чернявый, с усиками над губой-пиявкой, в прежние времена служивший, наверное, вышибалой в публичном доме, обратился к ней на ты:

— Чего тебе? Водки? Шампанского?

Бывшая сослуживица Зоценки не нашла ничего оскорбительного в его хамском тоне, такое обращение стало уже привычным для нее.

Зощенко, конечно, оборвал официанта, деликатнейшим

образом повел себя с девушкой («как студент», — заметил он потом без улыбки), но зла этим не исправишь.

Зло ходило по улицам, хамило, врвалось в дома и в души.

Иные бывшие герои спивались и, бия себя в грудь, кричали:

— За что боролись?

Другие хватались за отвлеченный, парадный, барабанный оптимизм, оторванный от живой жизни, но эта соломинка не спасала, не давала выхода.

Вообще по-разному путались люди в сложнейшей обстановке того времени, и многообразны были формы шатаний, сомнений, колебаний, разочарований, падений. Слова «обращание», «разложение», «перерождение» определяли опасности, которые подстерегали в повседневном быту. Стойкость каждого испытывалась весьма жестоко и ежечасно.

В те годы голос Зошенки, его произведения звучали резким осуждением всем мерзостям. Зошенко мерил людей и жизнь высокой меркой, выстраданной им в его боевой биографии, и несоответствие многого в быту и нравах того времени этой мерке порождало его «смех сквозь слезы», его глубокую и горькую сатиру, имевшую очень точную социальную направленность. Зошенко принадлежал к тем, кто вступил в ожесточенную борьбу с пакостями жизни.

В личной жизни Зошенко отличался удивительной неприязнительностью. Когда появлялись у него деньги, он не берег их, раздавал, по большей части безвозвратно. Долго жил по коммунальным квартирам, хотя мог бы, став уже известным писателем, устроиться лучше. Отсутствие практицизма было у него изумительное, он совсем не умел заботиться о себе, о своих удобствах, сразу как-то уставал. В этом направлении у него не было никакой настойчивости.

— А ну его к черту! — говорил он и бросал едва начатые попытки как-то улучшить свое существование.

Он любил только изящно одеться, вот и все.

Подспудная печаль его юмористических рассказов очень явственно проступала в его жизненном облике и поведении. Эта горечь очень чувствовалась и многими читателями. Однажды я слышал, как один рабочий, беря книгу Зоценки, возразил библиотекарьше:

— Это не просто смешные рассказы, над ними и плакать надо!

Никак не был похож Зоценко на присяжного юмориста-весельчака. Тем досадней и обидней было встречать отношение к нему как к этакому остряку-бодрячку, который обязан веселить общество. Мне это казалось попросту оскорбительным. А между тем и среди его поклонников находились люди, не понимавшие, что таится за его юмористикой, какая «великая грусть» видится ему в авгиевых конюшнях нравов человеческих, какая плодотворная тоска мучает его. Один из таких поклонников, желая сказать Зоценке приятное, заявил однажды в застольном тосте:

— Аверченки у нас уже нет. Но есть Зоценко, который достойно заменил его.

Зоценко поднялся и ушел.

Бывало, что он уклонялся, убегал от ожидавшего его успеха. На вечер, который предложили нам устроить по случаю пятилетия «Серапионовых братьев», Зоценко не явился. Он прислал мне письмо: «Дорогой Миша, передай мои извинения всем товарищам за то, что я не был 3 числа в Доме печати. Я был в Детском и не мог приехать. Кроме того, все это время у меня плохое сердце. Вчера я даже послал телеграмму в Харьков, в Одессу и в Москву с отказом от выступления...» Так «дипломатически» начал он,

но дипломатия не была сильной стороной его характера, и он закончил откровенно: «... Если говорить правду, то сердце у меня не так уж плохое, даже хорошее, но просто ужасно не хотелось и не хочется выступать. Ты, надеюсь, меня понимаешь. Так пушай серапионы меня простят. Целую тебя. Твой Зошенко. 6/II 26».

А ведь его ждали овации. Он уклонился от триумфа. Нет, не очень-то любил Зошенко свою славу юмориста. Да и вообще никогда не шел он навстречу успеху, славе. Он был вправе сказать позже в автобиографии: «Я никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия».

Он активно ненавидел в жизни то, что подвергал осмеянию в своих произведениях, слово и дело в этом смысле у него были слиты. И в творчестве своем он отнюдь не был только юмористом. Особые свойства его таланта, его характера сразу же, еще в студии, понял К. И. Чуковский, который всегда оставался для Зошенки большим авторитетом.

Горький с первых же прочитанных им в 1921 году вещей Зошенки высоко оценил его творчество, заметил, что страдание для этого молодого писателя — враг человека и подлежит уничтожению. Горький все годы неизменно хвалил и поддерживал Зошенко. Я нахожу в письмах Алексея Максимовича ко мне постоянные упоминания о Зошенке. То он сообщал о переводе рассказа «Виктория Казимировна» на французский язык, то просто писал: «Хорош Зошенко — передайте ему сердечный привет», или коротко, по поводу очередного рассказа Зошенки: «Очень хорош Зошенко». Иногда он отзывался распространенней: «Рассказ заставляет ждать очень «больших» книг от Зошенки. В его «юморе» больше иронии, чем юмора, а ирония жизненно необходима нам»

(это замечание относится уже к 1925 году). Позже, 25 марта 1936 года, Горький писал Зошенке в связи с его «Голубой книгой»: «Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы, если б вы дали в такой же форме книгу на тему о страдании!..» И дальше: «Страдание — позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». Он так же предлагал Зошенке «высмеять всех, кого idiotские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру».

Да, Горький глубоко понимал творчество и личность Зоценки, его любовь к людям, его стремление прогнать из жизни «великую грусть».

## 2

В самые первые дни и недели нашего знакомства Зоценко как-то поделился со мной замыслом повести, которую он хотел назвать «Записки офицера». Он рассказывал:

— Едут по лесу на фронте два человека — офицер и вестовой, два разных человека, две разных культуры. Но офицер уже кое-что соображает, чувствует...

Тут Зоценко оборвал и заговорил о другом.

Но потом он не раз вновь и вновь возвращался вдруг все к той же сцене в лесу. Что-то светлое возникало в том ненаписанном эпизоде, что-то важное и существенное, автобиографическое, может быть — определившее жизнь. Но всегда Зоценко недоговаривал, и похоже было, что он не рискует коснуться испытанного им в том прифронтовом лесу чувства словами приблизительными, да и вообще любыми словами.

На одном собрании кто-то в те давние времена попрекнул Зоценку его дворянством. Зоценко, почернев, ответил прямо и резко:

— Я порвал со своим классом еще до Октябрьской революции.

И мне вспомнились ненаписанные «Записки офицера».

В памяти Зоценки, очевидно, остался и жил некий переломный момент, когда накопленные впечатления достигли предела, последней черты, и вдруг без всякого уже нового внешнего толчка, вот просто так, в лесу, в мыслях о едущем сзади вестовом, что-то окончательно сдвинулось в душе, словно переместился центр тяжести, и все предстало по-новому, как новый мир, требующий новых, решительных действий, непохожих на прежние.

Те, кто был на фронтах первой мировой войны, вместе с солдатами испытывали на себе ее бедствия и видели воочию рабское, бесправное положение народа, одетого в серые шинели, знают это чувство, этот свет, как бы вдруг заживавшийся в душе и заставлявший иначе, по-другому взглянуть на все окружающее и на себя, сидящего в окопах, или едущего по лесу с вестовым, или просто стоящего с котелком в очереди к походной кухне с задымленной, покривившейся трубой.

В 1927 году в Париже я впервые и единственный раз в своей жизни встретился с Анри Барбюсом и, взглянув в его внимательно всматривающиеся, удивительно добрые глаза, увидел в них этот свет решения, принятого в бедственные для народа времена.

Я думаю, что не ошибаюсь, говоря о том переломном моменте в жизни Зоценко. Уж очень часто в разговорах со мной в те месяцы, когда он еще только становился писателем, когда начинал писать, вспоминал он о том эпизоде во фронтовом лесу. В каких-то намеках, полусловах он все возвращался к нему.

Там, в его дописательской жизни, сформировался его ха-

ракти, откуда вынес он свою жизненную позицию, свои взгляды на жизнь и человека, тогда же родилось и стремление его создавать литературу народную.

Одновременно с рассказами Зощенко писал повести. Первую серию повестей Зощенко создал в годы 1922—1926, и они не пользовались такой повсеместной известностью, как его юмористические рассказы. Они были «трудней» для чтения, эти оригинальные, поистине новаторские произведения.

Уже герой первых его рассказов Синебрюхов говорил: «Каким ни на есть рукоеслом займусь — все у меня в руках кипит и вертится». В повестях этот мотив занимает, по существу, основное место, является критерием для характеристики людей.

Стрелочник спрашивает Аполлона Перепенчука, героя повести «Аполлон и Тамара», собравшегося покончить с собой:

«— Знаешь ли какое ремесло?

— Нет.

— Это худа, — сказал стрелочник, покачав головой. — Как же это, брат, без рукоесла жить? Это, я тебе скажу, немисливо худа! Человеку нужно непременно понимать рукоесло. . .»

И еще раз:

«— Как же это можно без ремесла? Нипочем не можно. Как же существовать-то?»

Стрелочник устраивает Аполлона Перепенчука на работу могильщиком — ирония автора не требует тут никаких комментариев. Так кончается «сентиментальная повесть» Зощенки о любви «глубоко переживающего» Аполлона к девушке, носящей традиционно-романтическое имя Тамара. Так трактует он беспочвенных, занятых только переживаниями и пустопорожными рассуждениями людей.

В повестях своих Зошенко осмеивает тех, кто ничего не умеет делать, но зато полон никчемных, отвлеченных рассуждений. Эти люди живут у Зошенки в совершенной оторванности от реальной жизни. В «Мудрости» фигурирует философствующий бездельник, отдалившийся от людей, и вот «какое-то веяние смерти сообщилось всем вещам. На всех предметах, даже самых пустяковых и незначительных, лежали тление и смерть». И он умирает от удара в тот день, когда решил вернуться к жизни.

Позднее Зошенко написал «Воспоминания о М. П. Синягине». По страницам этой повести гуляет задумчивая, «благородная» личность, не имеющая никакой реальной цели в жизни и лишенная какой-либо определенной профессии. Это не человек, а пародия, собирательный тип бездельника, приобретшего этаким интеллигентский облик и в дореволюционной беллетристике выставлявшийся иногда даже как тип положительный. Это, пожалуй, самая резкая, самая издевательская из повестей Зошенки. С ней может поспорить в этом отношении разве только рассказ «Дама с цветами», где в самом отвратительном виде показана фальшь выпренных «переживаний», существующих у мещанина только для самолюбования и умиления перед самим собой.

Но недостаточно и уметь что-то делать. Герой повести «Страшная ночь», например, имеет профессию — он играет в оркестре на музыкальном треугольнике, в этом и только в этом заключается его роль в жизни. И вот он поражен мыслью, что треугольник могут вдруг отменить. Отменят — «и как же жить тогда? Чем это, кроме того, я прикреплен?» Ужас охватывает его, и он переживает страшную ночь, он звонит в колокол, чтобы разбудить, созвать людей.

Этот Когофеев похож, в сущности, на трагических персонажей Леонида Андреева, которыми тот пугал читателей.

И от сюжета повести Леонид Андреев, может быть, не отказался бы, только нагнетал бы мрак. Зощенко же просто ведет Котофеева в милицию, где героя повести и штрафуют за нарушение общественного порядка.

«Чем же, *кроме того*, я прикреплён?» Оказывается, одной профессии недостаточно, требуются более глубокие и крепкие связи с обществом.

Много и откровенно привелось мне разговаривать с Зощенкой. Однажды, 8 января 1928 года, жена моя, практикуясь в стенографии, взяла да и записала незаметно для нас один из наших разговоров, а потом показала нам. У меня сохранилась эта запись. Зощенко, оказывается, говорил:

— Ты можешь ошибаться, считая, что романтика и лирика украшает мои молодые вещи. Это не украшает, это построено на ужасе... И мне совсем не смешно, когда я смеюсь, разговариваю с девицей. Вообще-то ежели говорить обо мне, то я не верю, чтобы я мог изобразить благодушный организм...

И тут же:

— Я хочу быть нормальным человеком... Вот напишу «Записки офицера», у меня там положительный тип будет... У меня еще продлится какой-то период моего нездоровья, но возможно, что скоро наступит благоприятная полоса, такая, какая была до неврастения, два года тому назад. В эту полосу я напишу вторую книгу повестей, для большинства которых у меня сюжеты уже есть. Потом я стану приблизительно здоровым, нормальным человеком и напишу совершенно здоровую вещь со счастливым концом, авантюрную — «Записки офицера», которую я ношу черт знает сколько лет. И упомянутый сюжет у меня есть, и ни одного факта я не тронул... И если бы я не подумал,

что для этого нужно здоровье — конечно, вышла бы ерунда собачья, я бы осекся... В «Записках офицера» какая-то линия будет от исходной точки. Я вернусь к ней. Был у меня какой-то период возмужалости, когда мне стыдно было говорить лирические вещи. Я понемножку приду к ним опять...

Он добавил:

— Я знаю, что надо быть здоровым человеком, чтобы их написать. Ты смотри, я не курю в течение года, я не пью, веду размеренный образ жизни, второй год лечусь...

То он курил, то бросал курить, пьяным не бывал никогда, но «Записок офицера» так и не написал.

«Записки офицера» с неизбежностью прикоснулись бы к темам, которые в ту пору усиленно разрабатывались другими писателями, — «перестройка интеллигенции», «революция и интеллигенция», а по всему складу зощенковского характера и таланта эти темы, как мне думается, не годились ему. Наверное, он мог бы уловить словами чувство, испытанное в прифронтовом лесу офицером, оставшимся наедине с вестовым. Но ему, видимо, было неинтересно переносить в литературу это замеченное уже другими писателями чувство. Он брал конечный результат, писал с жизненной и литературной позиции, к которой его привели участие в первой мировой и гражданской войнах, советская работа. А то свежее, молодое чувство сродства с вестовым, с солдатами, с народом он словно берег в душе, как камертон, который давал ему тон в жизни и в литературе. Может быть, оно и было той «исходной точкой», о которой он упомянул в нашем разговоре. Может быть, оно лечило его, когда он отравлялся бытом нэповских лет.

«Построено на ужасе», «не верю, чтобы я мог изобразить благодушный организм», а с другой стороны — «у меня там положительный тип будет», «здоровая вещь со счаст-

ливый концом» — вот обычный диапазон его настроений, повторяющийся мотив при наших встречах, в тех, конечно, случаях, когда мне удавалось ввести в тему нашего разговора его самого, его творчество. Вообще же в суждениях о себе он был даже не просто скромнен, а как-то даже невнимателен. В том же разговоре, который я уже цитировал, он сказал:

— Черт с ним, хвалит или ругает меня Институт истории искусств. Неужели ты думаешь, что я сам не знаю, чего стоят мои вещи? А пушай ничего не останется.

Так выразился он о своих замечательных и знаменитых юмористических рассказах, которые к тому времени для него отошли уже в прошлое.

Мне всегда думалось, что после первых своих вещей, в которых он так откровенно сказал о «великой грусти», он как бы спрятался, надев комическую маску. Но в прорези этой маски глядели умные и печальные глаза автора, то добрые, то злые, меняющие свое выражение часто и резко, в зависимости от того, что видели они и как отзывалось виденное в душе автора.

Комический сказ, созданный Зоценкой, обнажал, обличал мещанина, как бы «взрывал» мещанскую психику изнутри. Природный юмор спасал Зоценку от «ужаса», о котором он говорил мне не раз («это построено на ужасе»). Зоценко прорывался сквозь уродства жизни, наступал на неповские нравы в своей комической маске, как солдат в противогазе сквозь отравленный участок фронта. Он вносил в ряды «уважаемых граждан» и «нервных людей» смещение и беспорядок, «нарушал беспорядок», как выразился один из его персонажей.

Увы! Некоторые критики видели только маску и не замечали лица автора, его позиции. 12 сентября 1929 года он

писал мне в письме из Ленинграда в санаторий: «Чертовски ругают... Невозможно объяснить. Я сейчас только сообщаю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и люблю мещанством! Эва, дела какие! Я долго не понимал, в чем дело. Последняя статья разъяснилась. Черт поberi, ну как разъяснишь? Тему пугают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности... В общем худо, Мишечка! Не забавно. Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом». В журнале «Звезда», № 7 за 1940 год, в статье о Зощенке, в единственной своей монографической критической статье в жизни, мне привелось в связи с такого рода попреками говорить: «Зощенко... обвиняли в тех самых грехах, в каких, бесспорно, виновны его персонажи. Это все равно что пожарного счесть пожаром, или ассенизатора признать навозом и выбросить его в помойку, или критику приписать грехи рецензируемой им книги...»

Комическая маска под конец просто мучила Зощенко. Но его надежды сказались и в цитированном выше разговоре со мной: «У меня был период возмужалости, когда мне стыдно было говорить лирические вещи. Я понемножку приду к ним опять...»

Он нашел свой новый стиль к началу тридцатых годов в новой серии рассказов и повестей. Наряду с развитием прежней своей манеры в таких рассказах, как уже упоминавшаяся «История болезни», появились у него такие вещи, как «Страдание Вертера», «Огни большого города», «Возмездие», его прелестные рассказы о Леле и Миньке, его совсем необычные, оригинальнейшие «Возвращенная молодость» и «Голубая книга» и многие другие произведения, в которых автор разговаривал с читателем, не «стыдясь» лирических, а порой и откровенно гневных нот.

Поколение, к которому принадлежал Зошенко, на Западе было названо «потерянным поколением». У нас, в России, революция спасла это поколение от судьбы западных наших сверстников, героев произведений Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и других крупных западных писателей. Большая часть этого поколения активно делала революцию, стала поколением зачинателей, первопроходцев во всех областях жизни и строительства, в том числе и в литературе. Зошенко — плоть от плоти этого поколения первооткрывателей, поколения начальной советской поры.

Мне всегда думалось, что Зошенко со своей славой юмориста и в тот период, когда он глядел из-под комической маски, и позже, был, по существу, романтиком, только в двадцатые годы ему одно время было «стыдно» обнаруживать это, как бывает стыдно возмужавшему молодому человеку показаться слишком чувствительным, сентиментальным. В этом смысле он в разговоре со мной довольно точно определил «период возмужалости», когда ему «стыдно было говорить лирические вещи». Чувство сродства с народом и революцией дало Зошенке силу прийти к новому, зрелому лиризму в своих произведениях. Его человеколюбие все явственней выражалось и в жизни и в литературе.

Вспоминаю, как один литератор, восхищаясь строительством новых городов и заводов, вымолвил такое:

— Все-таки главное — это города, дома, машины, а не люди.

Глаза у Зошенки стали как замороженные: неподвижные, чужие, злые.

— Значит, коробка важнее человека?

Он усмотрел бездушие в словах литератора и сразу же пошел в наступление.

Он с увлечением сотрудничал в газетах, не чураясь

никакой самой черной репортерской работы, и во все вкладывал душу.

Для него не существовало пустяков, мелочей. Каждую строчку он писал всерьез и от души. Работу ремесленную или по указке, без выношенной темы, он называл диктантом.

— Ну, это диктант, — говорил он про газетную статью, рассказ, роман, про всякое равнодушно выполненное литературное изделие вне зависимости от жанра и размеров.

В годы первой пятилетки он работал в заводской многотиражке, и помню, как на одном собрании ошеломило и спутало «проработчиков» выступление рабочего, который, не считаясь ни с какими тогдашними литературными «табелями о рангах», восхищался фельетонами Зоценки в заводской газете:

— Такие чудные вещицы он нам пишет!

Зоценко в своей литературной работе ни на один миг не забывал, что главное — люди, что все для людей, работающих, строящих, достойных любви и уважения, для тех людей, у которых «все в руках кипит и вертится», и читатели это очень чувствовали.

Из поездки на Беломорканал он вывез «Историю моей жизни», которая очень понравилась Горькому. Он жил современностью самым интенсивным образом.

Он безбоязненно проявлял свое человеколюбие и в годы, когда культ личности Сталина привел к нарушениям революционной законности. Опасность быть ошельмованным черными словами «враг народа» вызывала страх не столько за свою жизнь, сколько за свою честь. Хлопоты об арестованных грозили гибелью тем, кто хлопотал. Но Зоценко был среди тех, кто тем не менее пытался выручать товарищей. Об одном таком деле, в котором принял участие

Зощенко, рассказывает Мариэтта Шагинян в журнале «Наш современник» (№ 8, 1964). Был арестован талантливый поэт и переводчик Д. Выгодский, которого мы хорошо знали и любили. Шесть писателей — в том числе Зощенко — по своей воле (никто никуда не вызывал) дали свои ходатайства-поручительства о нем, с номерами своих паспортов, по всей форме. Это было не единственное дело, в котором Зощенко старался активно добиться справедливости.

В те годы Зощенко создавал свои рассказы о Ленине, написанные прозрачным, чистым языком, без всяких парадных слов. Естественно и непринужденно вылились из души писателя эти чудесные, ясные, простые рассказы, в которых высокой поэзией овеян образ величайшего из гуманистов и демократов, самого человеческого человека.

«Он хотел, чтобы все люди, которые работали, жили бы очень хорошо. И он не любил тех, кто не работает». Такими простейшими словами начал Зощенко свой рассказ «Покорение на Ленина». В двенадцати рассказах-эпизодах Зощенко стремился показать правдивость Ленина, его бесстрашие, волю, умение работать, скромность, справедливость, любовь к природе и красоте. Глубоким и светлым, молодым и свежим чувством проникнуты эти рассказы Зощенки. В рассказах этих восстанавливалась и пропагандировалась чистота, простота, глубокая человечность Ленина, ленинских идей.

С самого начала войны Зощенко много работал. Вместе с Е. Шварцем он написал антифашистскую пьесу, которая ставилась Н. Акимовым в дни ленинградской блокады. Затем война разъединила нас, в последние годы, как и в первые годы знакомства, вновь живших в одном доме. Встречи наши в Москве во время войны были кратковременными и не слишком частыми.

В августе 1946 года я, потрясенный только что выслушанным докладом, в котором Зоценко подвергся жесточайшей критике, шел домой через город, еще носивший страшные следы бомбежек и обстрелов. Мой спутник, молодой поэт, то и дело спрашивал меня:

— Что теперь будет, Михаил Леонидович? Что теперь будет?

Дома ждали меня Б. М. Эйхенбаум, М. Козаков с женой З. А. Никитиной и А. Мариенгоф с женой А. Б. Никригиной. Они были тоже взволнованы докладом. Мне сказали, что сейчас придет Зоценко.

Он пришел. В кепочке. В сером пиджачке и брюках в полоску. С палочкой. С легкой усмешкой на тощем лице.

— К чему же меня приговорили? — спросил он. — Меня не позвали на собрание.

Я ответил, что положение в высшей степени серьезное.

Все мы вместе прошли ко мне в кабинет.

Зоценко спросил уже без улыбки:

— Какое самое худое слово из всех худых слов было обо мне сказано?

Меня оставили с ним наедине, и я постарался сжато изложить суть доклада. Заключил я так:

— Тебе бы, по-моему, следовало прежде всего заявить, что ты советский человек и советский писатель.

— А кто же я такой? — искренне удивился Зоценко. — Как это вдруг на старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я и не был за все годы!

Мы перешли в другую комнату, где сидели остальные.

Зоценко хотел понять то, что произошло, но недоумение

вновь и вновь вспыхивало в нем. Поистине то была страшная ночь.

Бдение наше длилось до утра. Затем мы расстались. О сне, конечно, и думать было нечего.

День за днем положение обострялось — в газетах, по радио, на собраниях. Имя Зощенки приобретало какой-то зловещий цвет.

Как-то в те дни я шел с Зощенкой по набережной канала Грибоедова, и он сказал мне:

— А ведь со мной опасно показываться на людях.

— Да ну тебя! Не до шуток.

— Вот именно, что тут не до юмора. Появились какие-то критики, которые соединяют имена. Ты заметил? Я уже сложил чемоданчик.

Зощенко завершал работу над циклом партизанских рассказов, и через год некоторые из них были опубликованы в журнале «Новый мир». Полностью весь цикл вошел в книгу Зощенки, вышедшую в 1961 году в издательстве «Советский писатель». Мне кажется, что до сих пор эти талантливые и своеобразные рассказы остались не оцененными по достоинству.

В Гослитиздате в превосходном переводе Зощенки вышел роман финского писателя Майю Лассила «За спичками».

Жилось Зощенке необычайно трудно. Невыразимо трудно. Но вопреки всем обстоятельствам, он упорно работал.

Долгий перерыв в издании его книг кончился только после 1953 года.

В 1958 году отмечалось 90-летие Горького. По приглашению родственников Алексея Максимовича, Зощенко и я отправились в Москву.

Я привык видеть Зощенку чуть ли не каждый день, а в

дороге, в поезде, я посмотрел на него как бы со стороны и поразился — как он постарел и какой больной вид у него.

Дом на Малой Никитской. Столько связано воспоминаний с этим домом! В большой комнате — люди, близкие Горькому. А Горького нет. Он пошел бы к Зощенке на встречу с протянутой рукой, с неповторимым ласковым сиянием синих глаз, с тем словом, которое нужно именно сейчас, именно Зощенке... Но здесь были люди горьковской традиции, горьковской любви, горьковского сердца. Зощенко был встречен здесь с душевной теплотой.

Летом того года я был под Москвой. Ночью меня вызвали к телефону. Голос З. А. Никитиной из Москвы сказал:

— Умер Миша Зощенко.

На Сестрорецком кладбище, на песчаной горе — могила. Над ней поставлена стоймя большая мраморная плита. На этой плите — большими буквами: «Михаил Михайлович Зощенко».

1965



# ВМЕСТЕ И РЯДОМ



## ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ



Евгений Шварц приехал в конце 1921 года в Петроград вместе с ро-стовским театром и просто, легко, естественно, словно для того только и прибыл, вошел в нашу молодую литературную компанию. Без лишних слов и объяснений, по чутью, по какому-то внутреннему чувству сходились молодые люди в то удивительное время, и Шварц, южанин среди северян, актер среди начинающих писателей, сразу был признан своим. В нем ощущалась та же настроенность, что и у нас, петроградцев, собиравшихся в Доме искусств и влюбленных

в Горького, своего учителя. Только у Шварца еще ничего не было написано, ничего — ни удачного, ни неудачного. То есть, может быть, он что-нибудь писал уже и тогда, но не показывал нам.

Мы-то считали, что он неизбежно станет писателем. Не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра. Уж очень этот молодой, темпераментный актер, нервный, подвижной, порывистый, все примечал своими умными, живыми глазами, схватывал и сразу же выставлял в остром слове черты, отличавшие не только каждого из нас, но и менее связанных с ним людей, умел ответить не только на сказанное, но улавливал и чуть проскользнувший намек на скрытые, затухавшие мысли и чувства.

В пестроту и разнообразие бурного, жаркого литературного движения той поры каждый из молодых вовлекался со своим жизненным опытом, со своей темой, со своим самостоятельным голосом. Большинство молодых непосредственно участвовали в войнах и революции, и все испытанное и виденное ими горячей лавой шло в литературу, формируя ее. Произведения первых советских писателей говорили о революционном перевороте, о гражданской войне, о крутом коренном переломе в жизни и в судьбах людей. Шварц, всей душой воспринимавший новую литературу и восхищенный ею, не заявлял о себе ни одной строчкой, предназначенной для печати. Охотно вступая в споры о том или другом писателе, сам он в литературе молчал. Молчал и молчал.

Первые шаги, первые успехи, определявшие место каждого в новом литературном строю, запоминались, сверкали в пылающих огнем страстей дискуссиях, речах, разговорах, обростали критическими статьями, толками и кривотолками, восхвалениями и хулой. А у Шварца еще не было своего, напечатанного.

Поиски в начале совершенно нового пути были трудны, некоторых сильно крутили разного рода «завихрения». Но Шварца к вывертам и вычурам явно не тянуло, «загибами» он не грешил, не в этом было дело и не поэтому он оставался писателем только в потенци. А друзья его знали, что он еще покажет себя. Не просто верили, а именно знали.

Знали, потому что у Шварца были импровизации. Блестящие, сверкающие остроумием и, к сожалению, не записанные ни им, ни нами. Он был организатором наших театральных и кинопредставлений. Вместе с Зошенко и Лунцем он сочинял сценарии и пьесы, которые потом разыгрывались под его водительством в одной из гостиных Дома искусств. Народу на эти «капустники» набивалось много — писатели, художники, музыканты, любители театра и кино, молодые и старые.

Шварц вел эти вечера как режиссер, конференсье, актер, автор. Появились боевики: «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова» — замысловатая пародия на авантюрные фильмы, «Женитьба Подкопытина», где под гоголевские характеры Шварц ехидно подставлял нас. Даже Зошенко, которого мы считали самым обидчивым из нашей компании, не обиделся, когда Шварц дал ему роль Жевакина, как «большому аматёру со стороны женской полноты». Вообще не помню, чтобы кто-нибудь обижался или тем более сердился на Шварца. Это было невозможно.

В его шутках и пародиях, в его импровизациях на наших вечеринках выростал оригинальнейший писатель, наделенный редким и едким даром сатирика. Но этот дар далеко не исчерпывал всего характера и таланта Шварца. Шварц явно не собирался так уж сразу стать писателем — сатириком или юмористом. Не торопился. Похоже было, что он не нашел еще для этого своего дара такое применение в литературе,

которое могло бы удовлетворить его, и бережет его для каких-то серьезных целей, а пока что только забавляется им и забавляет друзей.

Шварц тонко и глубоко понимал и оценивал то, что его друзья писали, читали на собраниях, печатали. Но, слушая, читая, часто искренне восхищаясь, он не подчинялся чужим голосам и предпочитал молчание подражанию. Он явно остерегался всяких литературных влияний. Казалось иногда, что, слушая произведения товарищей, он прислушивался к самому себе, к тому, что зрело в нем. А зрело нечто большое, значительное. Это было ясно каждому, кто знал и любил его в тот период. Светился обаятельный, согретый живым добрым чувством ум, своеобразный и неожиданный, пронизательный и нежный. Этот добрый ум не давал сатирику размениваться на мелочи, распускаться, колоть кого попало и как попало. В жизненном поведении Шварца сатирик окрашивал оттенком иронии серьезность, доброту, лиризм, а умный и добрый человек смягчал уколы сатиры, когда обращал ее к друзьям. Шварц безошибочно угадывал, когда и какая шутка может оказаться неуместной, даже причинить боль, над чем можно шутить и над чем нельзя.

Жизненный опыт вылепил его принципиально добрым, так уж случилось, а романтика тех лет укрепила в нем любовь к людям, и, казалось, именно она, эта любовь, держала в узде его сатирический дар, который бил в нем фонтаном, кипел, бурлил. Всякое проявление душевной грубости, черствости, жестокости Шварц встречал с отвращением, словно видел сыпнотифозную вошь или змею, это было в нем прелестно и, главное, воздействовало на согрешившего, если тот был человеком, а не закоренелым тупицей или самолюбивым бревном. Человеколюбом Шварц был упрямым, терпеливым

и неуступчивым. Иногда думалось, что в нем живет какое-то идеальное представление о людях и возможных человеческих отношениях, что некая Аркадия снится ему.

Шварц был известен в писательском кругу начала двадцатых годов своими устными остротами. Он, актер, отлично владел всей оснасткой устной речи. Но в литературе острое слово идет без сопровождения автора. Интонация, жест, улыбка — все, что сопровождает устную речь и помогает донести до слушателя мысль, идею, чувство, все это оперение, если дело идет о литературе, должно воплотиться только в слове. Нет в литературе ничего, кроме слов, которые обязаны работать в полную мощь.

Талантливый, остроумный человек не обязательно становится талантливым писателем. Шварц это понимал. Он блистал в любом обществе, веселя, покоря словом, жестом, выражением лица, да и просто одним только появлением своим. Могло показаться по его ярко талантливой устной речи, что он уже готовый писатель, и трудно было догадаться о его мучительных поисках своего пути, своего голоса, о том, в каком живет он постоянном душевном напряжении, как в его творческой лаборатории подвергаются обработке, испытываются и бракуются, никак еще не получают своей формы серьезные литературные замыслы. Писатель Евгений Шварц отставал от человека Жени Шварца. Писатель еще в ту пору не родился.

Кто сразу угадывал в нем доброго волшебника — так это дети. Они ходили за ним толпой. Он мог бы, как сказочный крысолов, повести их куда угодно. Но он не был злым крысоловом. Он был действительно добрым волшебником, который воевал только с людоедами, ведьмами и чертями. Дети в наших спектаклях участвовали преимущественно как статисты, очень, правда, деятельные и восторженные.

Но вот «фильм» кончался, и наступал антракт. То был праздник для детей. Шварц принимал ужасно какой утомленный вид и вяло, как будто с огромным усилием, взмахнув рукой, усталым голосом, словно еле жив, выпускал разом всю детскую ораву. И они вырывались на «сцену», кувыркались, становились на голову, безумствовали, но поглядывали на обожаемого шефа, подчиняясь каждому его жесту.

Этим безмолвным оркестром (кричать воспрещалось — пантомима!) Шварц дирижировал как хотел. Дети у него и плавали, и карабкались куда-то по воображаемой лестнице, и вообще готовы были на все по его приказу. В этих «антрактах» тоже образовывались сюжеты, фантазия Шварца не терпела ни покоя, ни бесформенности. Все у него приобретало конструкцию, законченные, четкие формы. Игры имели подчас небезопасный характер, но отцы и матери не беспокоились — ведь руководил их детьми Шварц.

Все-таки хотелось, чтобы у Шварца скорей прошел «инкубационный период», чтобы он начал писать и печататься, как и его товарищи. Как-то я пристал к нему с этим вопросом, и он ответил:

— Если у человека есть вкус, то этот вкус мешает писать. Написал — и вдруг видишь, что очень плохо написал. Разве ты этого не знаешь?

Тут же он свел все на шутку:

— Вот если вкуса нет, то гораздо легче — тогда все, что намарал, нравится. Есть же такие счастливицы!

В другой раз он, прочтя один рассказ, где быт и фантастика сплетались воедино, вдруг задумался и вымолвил очень серьезно, словно нет-нет, да выплывали в нем из глыбины скрытые, нелегкие размышления:

— А наверное, так и нужно. В конце концов, можно,

например, кухонную ведьму просто посадить на метлу и пусть летит в трубу. Чего стесняться? Классики не стеснялись. Гоголь не стеснялся, Гофман тоже не стеснялся. Андерсен позволял себе что угодно...

Он был рожден изобретателем, он мог заговорить только своим голосом, ни у кого напрокат не взятым. Может быть, поиски казались ему иногда бесплодными, и это мучило его. Может быть, иногда он терял уверенность в себе, в своем будущем, в том, что удастся ему совершить в литературе то, что виделось только в тумане. Мы были уверены в нем, а он, возможно, сомневался. Однажды он сказал мне как бы мимоходом:

— Почему когда похвалят, то нет уверенности, а брань гораздо убедительней? У тебя тоже так?

Его действительно что-то тормозило, хватало за руку, удерживало. Он был как бы скован, связан высокоразвитым художественным вкусом. А может быть, эта гипертрофия вкуса самоубийственна? вредна? Может быть, такая чрезмерная требовательность к себе грозит уже перейти в самую обыкновенную робость? Нравится же ему многое из того, что пишут сверстники. Чего же это Женя стесняется или боится, когда другие с маху кидаются в омут и потом терпят все бедствия критических водоворотов и редакционных коряг? Я опять было пристал к нему, но он отмахнулся.

— Мишечка, — сказал он коротко и нежно, — я не умею. Ну что тут было делать?

От актерской деятельности он отходил. На сцене я вообще помню его только раз, но уже не в ростовском театре, а в каком-то другом, родившемся в Петрограде, — тогда возникало немало маленьких новых театров. Шла пьеса Адриана Пиотровского «Падение Елены Лей». Женя сидел в зрительном зале рядом со мной, потом вскочил, мелькнул

в цилиндре на сцене, уронил цилиндр, поднял, проговорил что полагалось по роли и вернулся в ряды. Он был неспокоен, дергался. Пальцы рук его всегда чуть-чуть подрагивали, отчего, кстати, уже тогда почерк у него был прыгающий.

А затем он и совсем расстался с профессией актера. Но денег не было, и он стал продавцом в одном из книжных магазинов на Литейном. В рыжем пальто и кепке он суетился за прилавком, снимая нервно подрагивающими руками книги с полок и предлагая их посетителям.

Весной 1923 года Шварц решил отдохнуть немного у родителей. Отец его работал в Донбассе, на соляном руднике, врачом. Шварц предложил мне ехать с ним. Милые люди из «Красного журнала для всех» выдали мне авансом не червонец, как я просил, а целых полтора червонца, и с этим богатством я присоединился к Жене.

Слишком поздно я сообразил, что совершаю весьма неловкий поступок, отправившись к незнакомым людям без приглашения и даже без предупреждения. Когда мы шли через зеленые бугры и балки со станции Соль к руднику, Женя успокаивал меня:

— Ты, стервь, чего боишься моих родителей? За кого ты их принимаешь? С ума ты сошел.

Я был принят радушно, как один из приятелей сына, как этакий чеховский Чечевицын (Шварц не преминул назвать меня так, знакомя с родителями). Лев Борисович Шварц, из старых земских врачей, по специальности хирург, словно сошел со страниц чеховского рассказа, и под стать ему была дородная, приветливая жена его, Женина мать Марья Федоровна. Все в них было прелестно-чеховское, и «Чечевицын» прозвучал естественно и непринужденно.

Шварцы занимали две комнаты. Одна из них была отдана нам. Набили тюфяки, положили на пол (один пришелся под рукомойник), и пристанище наше было, таким образом, полностью оборудовано.

Мы обошли весь рудничный поселок, чистенький, с белыми мазанками, вишневыми деревьями в садиках и подсолнухами-вертисолнцами, с футбольным полем на окраине рощицей за околицей. Нам разрешили спуститься в копи. Мы вошли в шатучую, довольно ветхую клеть, она стремительно ринулась вниз, в ушах лопалось, и вот мы оказались в удивительной пещере с далеко ввысь уходящими сводами. Соляной зал сверкал при свете ламп, как ледяной дворец. Слепительная, арктическая красота. Сияющая полярная чистота. Может быть, этот белый, как зима, подземный дворец вспоминался Шварцу, когда он писал «Снежную королеву».

Через несколько дней я отправился в Бахмут, в газету «Кочегарка», чтобы завязать связь с местными литераторами. Сосед Шварцев, уполномоченный Сольтреста, довез меня на своей тачанке. Вот и Бахмут, зеленый, кожный, веселый город с разноцветными домами и домиками, с галереями вдоль окон. В редакции газеты «Кочегарка» за секретарским столом сидел молодой белокурый, чуть скуластый человек. Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его светились как-то загадочно.

— Прошу вас подождать.

И он удлился в кабинет редактора, после чего началась фантастика. Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатился маленький, круглый человек в распахнутой на груди рубашке и в чесучовых широких штанах.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, — заговорил он, схватив меня за обе руки. Ладони у него были мягкие,

пыхлые. — Простите меня, — торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет. — Я не специалист, только что назначен. Но мы пойдем на любые условия, — при этом он усадил меня на диван и уселся рядом, — на любые условия, только согласитесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы зашли к нам! Договор можно заключить немедленно, сейчас же! Пожалуйста! Я вас очень прошу!

Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить, только старался, чтобы лицо мое не выдало моей величайшей растерянности. Белокурый секретарь стоял возле, недвижимый, безгласный, но глаза его веселились всюду. Я ничего не понимал. Простодушного редактора никак нельзя было заподозрить в подвохе, в шутке, в розыгрыше. Он продолжал говорить быстро и убеждающе:

— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы из Петрограда! Ах, вы с товарищем? Пожалуйста! Мы приглашаем и товарища Шварца! Товарищ Олейников, — обратился он к белокурому секретарю со смеющимися глазами, — прошу вас, оформите все немедленно! И на товарища Шварца тоже!

Возвратился я на рудник в линейке Губисполкома, кучером сидел милиционер. Навстречу из домика Шварцев вышли вместе с Женей изумленные старики. Выслушав мои новости, Лев Борисович ушел к себе в комнату, и мы услышали, как скрипка его запела «Сентиментальный вальс» Чайковского, он был, как многие хирурги, скрипачом-любителем. Женя нервно спросил:

— Как достать учебник шрифтов? Есть такой на свете? «Сентиментальный вальс» окрашивал внезапную перемену в нашей судьбе в лирические тона.

Когда мы на следующее утро шли по степи навстречу

первому нашему донецкому редакционному дню, то волновались так, что даже молчали. Только Женя изредка начинал бормотать:

— Петит... нонпарель... корпус... Слушай, ты, редактор, какие вообще бывают шрифты?

Почему-то ему казалось, что главным его занятием будет — возиться со шрифтами.

За двенадцать километров пешего хода степная «черная пудра» сделала свое черное дело. Какой-то худощавый живчик попался нам навстречу, мы обратились к нему за помощью, и он гостеприимно пригласил нас к себе помыться и почиститься. По дороге в «Кочегарку» мы поели еще мороженое «Тромбон» и почувствовали себя готовыми к исполнению новых обязанностей.

В редакции мы были встречены Олейниковым.

Николай Макарович Олейников, будущий поэт и детский писатель, не утаил от нас, что это он — виновник вчерашней фантасмагории. Было решение об организации первого литературного журнала на Донбассе, но опыта не доставало, писателей и литературных связей еще не было, и вот Олейников, жаждавший журнала до умоисступления, воспринял внезапное наше появление в Бахмуте как подарок судьбы. Он слышал о петроградской литературной молодежи и принял немедленные и экстренные меры в своем стиле — сообщил редактору, что вот тут сейчас находится проездом знаменитый пролетарский Достоевский, которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы он помог в создании журнала. Этим и объяснялось все дальнейшее поведение редактора, глубоко верившего в молодую литературу.

Олейников рассказывал нам обо всем этом спокойно и деловито, словно ничего необычного не было в том способе, какой он применил, чтобы воодушевить редактора на реше-

тельные действия. Так произошла первая встреча Шварца с Олейниковым, перешедшая вскоре в дружбу на всю жизнь.

В то время в широчайших народных массах росла необычайная тяга к культуре, молодые и немолодые люди с азартом «грызли гранит науки». Жила страсть ко всякому культурному начинанию и в редакторе, который с энтузиазмом и величайшим доверием поручил молодым людям ответственное и важное дело, чтобы как можно скорей осуществить его. То был симпатичный, горячий человек, живший пафосом огромных надежд и огромной веры в людей и в будущее, и мы со Шварцем всегда вспоминали о нем с сердечной благодарностью. Вскоре он перешел на другую работу, а к нам пришел В. Валь, длинный, худой, точнейшая копия Дон-Кихота. Простой и умный, он отлично разбирался в литературных делах, и работали мы с ним душа в душу.

На Донбассе Шварц был несколько другим, чем в Петрограде, — спокойней, уверенней. Здесь, под ясным, синим непетроградским небом, понятней становились живость и веселость Шварца, острота и пряность его фантазии, которые он, южанин, принес нам на север. Может быть, и Майкоп, где он жил в детстве, был таким же многоцветным и пленительным, как Бахмут.

На Донбассе Шварц начал печататься. Это произошло со всей неизбежностью, тут уж нельзя было ссылаться на вкус, отнекиваться, тянуть. «Кочегарка» нуждалась в стихотворном фельетоне, и Женя стал писать раешник. Он подписывался псевдонимом «Щур». Среди значений этого слова есть и певчая птица и домовая, и уж не знаю, какое из них привлекло Шварца — первое или второе. Может быть, оба вместе. Певчая птица пела хвалу, а домовая пугал и вы-

тягивал «за ушко да на солнышко», как тогда говорилось, всяких нерадивых работников, рвачей и прочих такого рода. Помнится, что Шварц писал также под псевдонимом «Дед Сарай», но уверенности в этом у меня нету. Его «Полеты по Донбассу» имели большой успех.

Шварц уже не стеснялся своих литературных опусов. Писал в редакции и тут же читал их нам, прежде чем сдать в газету. Все-таки удивительно бывает полезной в начале писательского пути газетная работа! Она расширяет знание жизни и людей, сталкивает с самыми разными делами, обстоятельствами и судьбами, в то же время подгоняет, ставит перед необходимостью в каждом отдельном случае быстро занять свою твердую позицию и без особых промедлений выразить ее в слове. Она придает смелости в литературном труде. Но не дай бог погрешить против истины или оказаться несправедливым в оценке! Очень пригодилось здесь чувство справедливости, присущее Шварцу.

Газетная работа вдруг и решительно выбила у Шварца все тормоза, которые сдерживали его. Она формировала его литературный дар, требуя немедленного отклика на самые конкретные темы, которые приносила жизнь в виде «писем в редакцию», «сигналов» и пр. Кроме того, мы совершали поездки по Донбассу в поисках авторов и материала. Помню Шварца в Краматорске, в Горловке, и в ряде других мест. В Краматорске мы «открыли» первого местного рабочего автора — прозаика П. Трейдуба. Приходили авторы и в редакцию. Один явился с гитарой и сказал, что стихи свои он может только петь. Спел он хорошо, но — увы! — стихи были плохие. Этого славного парня Женя часто вспоминал потом. И на руднике и в Бахмуте нашлось много молодежи, с которой мы дружили, и Женя так же блистал здесь в любом обществе, как и в Петрограде. Шварц и

Олейников соревновались в остроумии, и девицы ходили за ними стайками.

Журнал «Забой» (так мы называли его) организовать удалось. В первом номере еще господствовали петроградцы, с которыми, как, впрочем, и с москвичами и киевлянами, мы связались с первых дней работы. Содержание номера составили главы из повести Николая Никитина, рассказы Зошенко «Агитатор» и Трейдуба «Месь», стихи Николая Чуковского (он начинал со стихов) и местного автора К. Квачова. Были также статьи и обзоры по международному положению, сельскому хозяйству, местному производству, литературе и искусству. На зеленой обложке рисунок: «Семья немецкого рабочего». Последний раздел — «Сатира и юмор». Итак, «громада двинулась и рассекает волны...» Да, этот тоненький журнал казался нам громадой, столько в него вложено было труда, пота, крови, надежд и упований. Наследником и продолжателем его является нынешний «Донбасс». В «Забое» начали свою деятельность такие талантливые писатели, как Б. Горбатов, М. Тардов, поэт Павел Беспощадный, критик А. Селивановский и многие другие.

К зиме 1923 года, когда выход «Забоя» налачился и состав сотрудников определился, я вернулся в Петроград. Шварц, оставшийся на Донбассе, писал мне: «Журнал стоит твердо». Передавал друзьям: «Зошенке, Федину, Н. Чуковскому — мою любовь... я люблю их. И тебя, о Миша, люблю...» Через несколько месяцев он тоже вернулся. В ту пору я работал в журнале «Ленинград», выходившем при «Ленинградской правде», и мы вновь сошлись здесь в редакционном деле. Вскоре к нам присоединился и Н. Олейников, переехавший в Ленинград.

Была большая разница между первым и вторым приездом Шварца. Первый раз он приехал к нам актером. Вой-

дя тогда в литературный круг, он, может быть, тут только как следует понял, что не актером ему быть, а писателем, может быть, только тогда открылось перед ним его истинное призвание. А теперь он явился уже с некоторым литературным опытом и с уже написанными сказками для детей. Это ему дал Донбасс. «Кочегарка» и «Забой» погрузили его в самую гущу трудовой рабочей жизни, насытили знаниями, впечатлениями, конкретным материалом, поставили, так сказать, на твердую почву его намерения и замыслы, придали уверенности в себе. На Донбассе он узнал любовь не только товарищей по работе, но и читателей. Его работу на Донбассе запомнили. Уже в послевоенные годы Горбатов как-то в разговоре со мной с большой нежностью вспоминал о том, как он обязан Шварцу при первых своих шагах в литературе. В журнал «Ленинград» Шварц пришел уже опытным литературным работником.

Наша редакционная комната вмещала два журнала: наш и «Новый Робинзон». Редактором «Нового Робинзона» стал Самуил Яковлевич Маршак. Маршак появился в нашем городе в конце 1922 года, еще до Жениного отъезда на Донбасс. Первому знакомству с Маршаком предшествовал поход К. И. Чуковского по писательским квартирам и комнатам. Избегая на высокие этажи с легкостью юноши, Корней Иванович с заражающим энтузиазмом и обычной своей душевной щедростью возглашал:

— Приехал поэт Маршак! Замечательный! Огромный! Вы обязаны быть завтра...

Он называл час и место первого выступления Маршака и мчался к следующему писателю.

Собрались на вечер старые и молодые. Женя был с ходу покорен Самуилом Яковлевичем — его стихами и им самим. Вот строки, посланные им с Донбасса мне в конце 1923 го-

да: «Ужасно хочется написать Маршаку! Мечтаю об этом два месяца. Сначала боялся, что ему не до меня, теперь боюсь, что его нет в Питере. Счастливец, ты можешь позвонить по телефону и узнать и где он и что, а я как в потемках. Обидно мне. Маршака я очень люблю...»

Маршак со всей энергией вошел в литературную жизнь города, и вот мы теперь работали в одной комнате, и грань между детской и «взрослой» литературой как-то терялась. Легко сочетал в себе писателя для детей и писателя для взрослых Борис Степанович Житков, красочный портрет которого дал в своих воспоминаниях К. И. Чуковский. Житков вручал один рассказ, «взрослый» — нам в «Ленинград», другой, детский, — Маршаку. Затем садился в сторонку и закуривал трубку. Уж не знаю наверняка, курил он тогда трубку или нет, но в памяти остался он с трубкой, этакий морской волк с обветренным лицом капитана дальних странствий. Он охотно служил нам живым справочником. Знал он, казалось, решительно все. Ремесла, инструменты, технические термины, звезды, реки, озера, животные, насекомые, птицы, рыбы, как что делается, где что происходит — все ему было известно. Волшебная энциклопедия, с готовностью отдающая свои сокровища восхищенным невеждам. Много позже он написал свою «Почемучку», как он называл ее, а тогда она еще только просилась на бумагу.

В таком окружении Шварц рос как писатель. Юмор у него, как всегда, был неистощим. Вот он пишет из отпуска: «Дорогая редакция! В случае ежели что мой адрес: Волоколамск, городская больница. Больница эта излечит результаты совместной полугодовой работы...» Или так: «Груздев, женатый и толстый, часами говорит по телефону, прикрывая трубку рукой, шепотом. Наверное, заказывает жене обед...» Или такую открытку получаем мы с женой: «Хотел

к вам прийти в гости поужинать, но потом побоялся, что ужина нет. А по телефону спрашивать, есть ли у вас ужин, — стыдно. Скажете, что я только ужинать и хожу. А я не только...» Уходя, оставляет нам тут же сочиненную пародию на «жестокий» романс, с такими, например, строками:

Кругом у вас благополучно,  
А мы — унылою тропой  
Уходим медленно, беззвучно,  
Безукоризненно домой.

И так далее, и так далее. Он заражал своим весельем окружающих. Только что появившийся тогда из Белоруссии Леонтий Раковский с готовностью подписывает вместе со Шварцем пародию на официальный документ, и я получаю это «отношение» со всеми атрибутами «казенной бумаги» — с нарисованным штемпелем и даже с погашенной по всем правилам маркой. Юмор очень помогает в работе.

В 1925 году вышла первая книжка Шварца «Рассказ старой балалайки». «Инкубационный период» кончился. Евгений Шварц стал писателем. Одна за другой издавались его детские книжки в стихах и в прозе. Было совершенно естественно, что он первые свои произведения адресовал детям, можно было сообразить это еще в Доме искусств, когда дети облепляли его, чуть он показывался. Иные «взрослые» писатели, восхищенные его яркостью и блеском как человека, огорчались, что пишет он не так, как ожидалось, что в его детских вещах — осьмушка, четверть его дарования. Это никчемное взвешивание на весах прекратилось, когда в начале тридцатых годов Шварц родился как драматург. В его творчество влилось великолепное знание им театра, сцены. Стало ясно, что Шварц окончательно нашел себя в литературе.

Всегда мне казалось, что Шварц вроде как человек-оркестр, прекрасно владеющий и струнными, и духовыми, и ударными, но не желающий в полную силу пользоваться ими, пока он не подчинит их своему особому инструменту, на котором один только он и может и умеет играть. Этот инструмент был каким-то очень нежным, хрупким, его мог разломать, разбить и уж во всяком случае заглушить гром и звон множества литературных оркестров того времени. Что-то вроде свирели пыталось вступить в строй звуков и замолкало, замирало. Эта свирель тоже была рождена романтикой тех начальных лет, в ней чистое человеколюбие искало своей, особой мелодии.

Добрый инструмент Шварца постепенно вбирал в себя звуки всех других инструментов, сначала органа, арфы, скрипки, а под конец и барабана и литавр. И тогда, когда он еще пел только для детей, взрослые уже чувствовали в нем нечто очень недетское, умудренное большим опытом. Приобретая все ббольшую силу и звучность, этот шварцевский инструмент давал свой, особый тон всей музыке его творчества. Хорошая идея запела в произведениях Шварца звонко, громче всех труб и виолончелей, а в слуги взяла себе сарказм, злую сатиру. Шварц добился полноценного воплощения того, что зрело в нем тогда, когда он блистал среди нас и молчал в литературе. Сатирический дар Шварца стал орудием доброй идеи, передовым бойцом против всякой скверны. Шварц стал известным писателем. Книги его расходились быстро, пьесы — детские и взрослые — шли всегда с аншлагом, многие писатели высоко ценили его талант. В театре он нашел множество новых друзей. Н. П. Акимов и Г. В. Зон изобретательно ставили его пьесы — для взрослых и для детей.

В некоторых литературно-административных сферах того

времени он, впрочем, долго еще «не котировался». В начале тридцатых годов, например, Шварц принял участие в большой писательской поездке по новостройкам. Он вынес очень много ценного для себя из этого путешествия, но один литературный администратор постарался и в этом хорошем и полезном деле напомнить об иерархии, возвысить одних, унижить других. Он перед отъездом собрал всех участников и распределил места на пароходе по существовавшему тогда табелю о литературных рангах. Женья рассказывал мне:

— Он торжественно и публично назначил великим отдельные каюты, выдающимся — на двоих, а остальных рас­совал по несколько человек. Один выдающийся страшно оби­делся и рвался в великие, но его одернули. Я, конечно, попал в «и другие», но существовал вместе с милыми брать­ями Тур, и все было хорошо.

Потом он прибавил:

— Ты знаешь, этот тип так нажал на чины, что я даже почувствовал, что у меня есть самолюбие. Нет, правда, я впервые заметил, что у меня самолюбие.

В середине тридцатых годов среди других был несправедливо арестован и Н. М. Олейников, ныне посмертно реабилитированный. Вскоре после его ареста некто длительным ночным звонком постарался напомнить Шварцу, что может прийти и его черед. Отворив дверь, Женья услышал только, как кто-то быстро сбегает по лестнице вниз.

Замечательный поэт П. Маркиш, человек большого, горячего таланта, огромной искренности и взыскательнейшего вкуса, как-то уже в военные годы говорил мне о сильном впечатлении, которое произвела на него пьеса Шварца «Тень». С особым напором, темпераментно, увлеченно называл он пьесу Шварца благородной — именно благородной по направленности, по мысли и чувству. Помнится, во время

довоенной декады ленинградских театров в Москве (кажется, в 1940 году) была и статья Маркиша о «Тени». Маркиш нашел нужное слово для характеристики не только «Тени», но и всего творчества Шварца и человеческого облика его. Шварц всегда оставался активным человеколюбом. Таким был и Маркиш, поэт-коммунист, натура чистая, самородная.

В последний предвоенный год Шварц как-то зашел ко мне и прочел начало новой пьесы, прямо и точно направленной против фашизма. Я был поражен яркостью и силой этих первых страниц «Дракона». В начале войны Шварц в соавторстве с Зощенко создал сатирическую антифашистскую пьесу, которая была поставлена Акимовым в блокадном Ленинграде. Блокадная зима свалила Шварца. Больной, обессиленный, он вынужден был эвакуироваться. В Кирове он заразился скарлатиной. Он писал мне: «... Я заразился у гостившего у нас Никиты Заболоцкого скарлатиной и, как детский писатель, был увезен в детскую инфекционную больницу. Там я лежал в отдельной комнате, поправился, помолодел и даже, на зависть тебе, о Миша, похорошел. Теперь я начинаю входить в норму. Дурнею помаленьку...» Работал он при этом неустанно. Он сообщает в том же письме: «Написал я тут пьесу... Зон и Большой драматический собираются ее ставить. Даже репетируют. До чего же отчаянные люди бывают на свете!..» Он находился в постоянной связи с театром Комедии, с Акимовым, с которым в конце концов соединился и в эвакуации. Он писал мне: «... Письма здесь, Миша, большая радость. Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно. Но ты пересишь себя, и когда-нибудь это тебе оплатится...» Уже эти немногие строки показывают, что при всем напряжении тех лет, при всей большой работе, которой он отдавал себя в

те годы как писатель и общественник, спасительный юмор не покидал его.

В послевоенные годы все больше его мучила развивающаяся болезнь. Он не упоминал о ней, он старался жить, как привык, — в постоянных трудах, в постоянных мыслях об общих судьбах, а не о себе. К друзьям литературным и театральным прибавились теперь друзья в кино. Он писал сценарии, работал в содружестве с Г. М. Козинцевым. А болезнь все с большей силой овладевала им.

В середине пятидесятых годов наше поколение начало шагать в седьмой десяток лет. Шварц шагнул за год до меня. Свое выступление на банкете в честь Шварца Зоценко начал так:

— Шестьдесят лет — тут уже не до юмора...

Но был юмор и в его выступлении, теплым дружеским чувством дышал этот товарищеский вечер.

Лето следующего года мы с женой проводили под Москвой. Туда Шварц писал нам все еще в обычном шутовском тоне. Вот, например, об одной рецензии: «Про меня написали обидно. Обозвали так: «Один из старейших ленинградских драматургов». Легко ли читать это выздоравливающему!» Он со своим жизнелюбием и жизнестойкостью за полгода до смерти считал себя выздоравливающим. И дальше: «Поправляясь, все вспоминаешь старых друзей». Подписался он так: «Ваш вечный шафер».

Да, в 1924 году он был шафером на нашей свадьбе. Он тогда, опережая события, нетерпеливо спрашивал меня в письме еще с Донбасса: «Когда свадьба? Я очень люблю быть шафером, а потом ужинать». Когда мы с женой записывались в загсе, свидетелями были он и Константин Федин. К столу браков стояла очередь, и, когда Федин вышел покурить, Женя бегал к нему и обратно каждую минуту, что-

бы все были на местах в торжественную минуту, когда нас вызовут. Он так суетился, что в конце концов его начали принимать за жениха. Но вот пришел наш черед. Хмурая женщина протянула мне с женой бумажку и, не подымая головы, не глядя на нас, проговорила скороговоркой («без знаков препинания», — сказал Женья):

— Брак считается состоявшимся к заведующему за подписанием и печатью.

Этот процесс бракосочетания за канцелярским столом, запачканным, закапанным чернилами, был весело осмеян за ужином, в дружеской компании.

— Я боялся, что она выдаст похоронные свидетельства, — говорил Женья. — Ты заметил, что она и женит и хоронит? Когда она вас бракосочетала, она просто спутала выражение лица, выдала как на похороны.

Так я и вижу его источающим радость и веселье, но с нарочито серьезным лицом, преисполненного дружбы и любви, но с обязательным острым словом.

— Ты заметил, что у меня римский профиль? — как-то вымолвил он и принял позу Юлия Цезаря.

Весьма возможно, что у него был профиль, который обычно называется римским. Наверное, Женю можно было называть также полным и высоким, даже «крупным мужчиной». Но эти слова мало что определяют в нем. Они не передают той внутренней жизни, которая одушевляла весь его облик, постоянно меняя оттенки его голоса, жесты, выражение лица, его всего до кончиков нервно дрожавших пальцев.

Произведения Шварца много переводились на иностранные языки. Показывая мне как-то свои книги, изданные за рубежом, он вымолвил:

— Могу же и я наконец хоть раз похвастаться!

Да, о себе говорить он не умел и не любил.

Болезнь прогрессировала быстро. Когда пришел мой черед шагнуть через грань шестидесяти лет, Женя уже не выходил из дому, лежал безнадежно больной. И телеграмма, которую он прислал мне, была уже совсем лишена шутивого тона: «... Столько прожито вместе и рядом! Все время вспоминаю журнал «Забой» в Донбассе, «Всесоюзную кочегарку», соляной рудник имени Либкнехта... Целую тебя крепко. Работай как работал — все будет отлично. Твой старый друг Евгений Шварц».

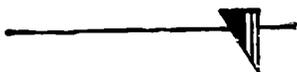
Однажды, когда я зашел к нему, он слишком оживился, громко заговорил. Зная, что Жене нужен прежде всего полный покой, я встревожился. Но покой был противопоказан ему. Я вышел в соседнюю комнату.

Страшно, когда умирает старый друг и ничем нельзя его спасти.

1964



# КАМАРАДА ДАВИД ВЫГОДСКИЙ



**В** Петрограде, в начальные годы советской литературы, среди молодых писателей, группировавшихся вокруг Горького, свое особое место занимал поэт, переводчик, критик, замечательный знаток иностранных языков, романтически влюбленный в революцию и в революционную литературу Давид Исаакович Выгодский, или попросту, как мы называли его, Давид. Мы, молодые тех давних лет, очень любили этого нескладного большелобого энтузиаста с тихой улыбкой на широком лице, умного и остроумного, доброго и откровенно правди-

вого в своих суждениях о наших первых опытах. Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил о себе. Но отлично помню, с какой любовью говорил он о товарищах, об их работе, об их будущем, в которое верил. Мы росли вместе с ним. Он был нам просто необходим со своей большой культурой, со своими знаниями, со своим масштабным пониманием времени и — это было главное — со своей чистой душой, которая светилась в каждом его слове, в каждом добром, товарищеском поступке.

Трудился он неутомимо. Жил он в том же Доме искусств, и вечерами допоздна горел свет в его комнате, а он сидел в легком пальто (шубы у него не было) за столом и работал, работал, работал. Вставал, прохаживался по холодной, нетопленной комнате (дров у него не было), ежился, потирая руки, и бормотал, ища нужное слово, потом вновь брался за перо. На голодном пайке тех лет он работал с любовью, с вдохновением, так, как работало во всех областях жизни то поколение, к которому он принадлежал, поколение, рожденное Октябрьской революцией.

Он ничего не умел скрывать. Хитрость была чужда ему. И когда вдруг он стал исчезать по вечерам, а потом возвращался растерянный, сияющий, склонный уже не переводить чужие стихи, а писать собственные, то легко было нам догадаться, что такое приключилось с ним. И вскоре он познакомил нас со своей женой, отчество которой нас не заинтересовало. Попросту Эмма, новый наш друг и товарищ, вот и все. Имя Эммы Выгодской впоследствии стало известно у нас и за рубежом, как имя талантливой детской писательницы. Давид Выгодский стал работать еще больше, еще вдохновенней. Дружба наша продолжалась и тогда, когда, после закрытия Дома искусств, мы разъехались по разным районам города.

Выгодский создал много ценного в нашей литературе. Его труды свидетельствуют о широте интересов, об уме, таланте и больших знаниях. Он дал советским читателям переводы произведений И. Бехера, Вайяна Кутюрье, Барбюса, Джерманетто, Броунинга, Теннисона и других писателей — немецких, французских, итальянских, английских. Но мы его называли испанцем, и если кто подшучивал по молодости лет, присоединяя ему еще и «дона» и «кабальеро», то он выносил это с неизменной кротостью.

Д. И. Выгодский был ярко талантливым испанистом, одним из пионеров советского переводческого дела. Он воспламенялся, когда разговор касался Испании, Филиппин, Латинской Америки, вот уж подлинно можно было сказать, что для него «Гренадская волость в Испании есть». Тихий Давид превращался в огнедышащий вулкан, из которого жаркой лавой шли стихи Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти и других прекрасных испанских поэтов, революционные стихи поэтов Кубы, Венесуэлы, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Мексики, Боливии, Эквадора, далеких Филиппинских островов. Его знали и любили наши зарубежные друзья, к нему шли письма передовых писателей, и он пламенно откликался на них, его переводы авторизовались. Он переводил также произведения Кальдерона, Бласко Ибаньеса и других испанских писателей.

Давид Выгодский становился все более известным и у нас и за рубежом. Его имя стало солидным, уважаемым именем серьезного, талантливого литератора. А он оставался все тем же тихим Давидом, которому никак не шли ни «дон», ни «кабальеро», но очень шло чудесное слово «камарада». Все та же тихая улыбка на его широком лице, все та же правда, та же чистая душа в каждом слове. Он оставался тем же скромнейшим Давидом, который избегал

разговоров о себе и с любовью и уважением отзывался о других, о близких и дальних товарищах и друзьях. Он оставался тем же неутомимым тружеником, выполнявшим свои работы как долг перед народом, перед родной Советской страной. И только, кажется, к тридцатым годам он догадался приобрести наконец шубу, что, вообще говоря, не было лишним в зимнем Ленинграде. Библиотека его росла, книги шли к нему, как друзья и товарищи, весьма часто — с дарственными надписями авторов.

В 1938 году его деятельность была внезапно пресечена арестом. Группа писателей, знавших и любивших его, старалась спасти его, дав о нем характеристики как о талантливом и честном советском человеке, но эти хлопоты не помогли. Давид Выгодский погиб в одном из бериевских лагерей.

Д. И. Выгодский писал оригинальные стихи, но по чрезвычайной скромности своей почти не печатал их. Он предпочитал пропагандировать произведения других писателей. В журналах и газетах появлялись его статьи и рецензии о книгах советских писателей, о прогрессивной иностранной литературе. В бедственные годы его жизни в нем проснулся поэт. С большим опозданием донесся до нас его чистый голос — голос оклеветанного, честного советского писателя, оставшегося и перед лицом жестокой несправедливости человеком, до последнего дыхания преданным своей Родине. Это голос мужества и верности родному советскому народу:

О Родина, в последний час,  
Пока рассудок не угас,  
Клянусь последним взлетом мысли,  
Что я от разрушенья спас,  
Клянусь слезами, что нависли  
На уголках потухших глаз,—

Я верен был своей Отчизне  
И верным ухожу из жизни...

В одном стихотворении Давид Выгодский говорит, обращаясь к Родине:

...Твой справедливый знаю нрав:  
Узнаешь — пред тобою прав  
Твой сын, и ты вернешься к сыну...

Давид Исаакович Выгодский посмертно реабилитирован.  
Он живет в своем творчестве, в своих талантливых трудах. Его большое литературное наследство неотъемлемо принадлежит советской литературе, советскому народу.

1964

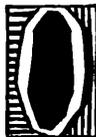


# ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДИ- РОВКА



1932  
ГОД  
ИЮЛЬ-АВГУСТ

## БЕРЛИН



н светловолос, его совсем еще молодое лицо чисто выбрито, расстегнутый ворот его зеленой спортивной рубашки открывает сильную загорелую шею, его модные, чуть ниже колен, коричневые — в крупную горошину — штаны шароварами нависают над плотно обтягивающими крепкие ноги чулками. Его голова закинута назад, выпячивая кадык, у рта — рупор.

Он медленно движется по улице, обращая рупор кверху, к окнам молчаливых домов. Он идет, останавливается, потом вновь трогается в путь, и глаза его, привыкшие ко все-

му, что изумляет приезжего, не видят многочисленных плакатов и плакатиков, с немецкой тщательностью вырисованных даже, а не выписанных, — о сдающихся внаем квартирах, о мебелированных комнатах: это почти в каждом доме пустуют комнаты и квартиры, но ведь совсем пустых домов нет!

Он поет, рупор усиливает звук его голоса, а товарищ его — постарше, лет уже под тридцать, — аккомпанирует на скрипке. И третий — горбун, в потертой, но аккуратно вычищенной черной тройке — сопровождает певца и скрипача, растягивая гармонику.

Этот концертный номер может не понравиться кому-нибудь — странный подбор инструментов, не та песня, фальшивая нота у скрипача, плохой голос у певца... Но можно найти сколько угодно других певцов, других музыкантов. Можно, не заходя в театр, не беря билета на концерт, наслаждаться прекрасным пением, прекрасной музыкой — прямо вот так, между делом, на улице — на любой улице города, будь она на окраине или в центре.

Вот, например, семейный номер — папаша в белой рубашке (жестяная запонка прочно сидит в своем гнезде у шеи) и широких, некогда ровно по телу, а ныне складками висящих штанах вертит ручку шарманки с такой добросовестностью, с какой он привык долгие годы работать у станка. Шарманка поставлена на колеса, и мамаша, сухопарая, похожая на стоймя поставленную гладильную доску (волосы — войлоком), с каменно-неподвижным, ненавидящим любопытство и жалость лицом, подталкивает шарманку. Дочка — лег одиннадцати — перебегает с панели на панель, протягивая руку к прохожим. Шарманка с торжественной медлительностью катит по одной из центральных улиц города.

Музыка и пение — повсюду. Музыкальный город! Музы-

кальный народ! Впрочем, это не Венеция, это Венеция по-неволе, это Берлин, полный музыки безработных.

Гитара, гармоника, скрипка — все равно что, только б отдернулась занавеска у окна и звякнул бы о мостовую хоть пфенниг, только б остановился на миг прохожий и вынул из жилетного кармана самое ценное, самое необходимое, то, что работой уже не добыть, потому что нет работы, — пфенниг!

У приезжего в зубах — папироса. Он шарит по карманам — неужели забыл спички дома? Но он может не беспокоиться — до чего заботятся о нем славные молодые люди, те, что переминаются с ноги на ногу у каждого каштана, у стен. Они подсказывают, они предлагают спички — сколько угодно спичек! Они предлагают, кстати, шнурки — сколько угодно шнурков! Но тот, у стены, продолжает стоять неподвижно с протянутой рукой (у него — ни спичек, ни шнурков), и вот там, подалее, у роскошного и уже идущего к дешевой распродаже магазина, остается в неподвижности человек с двойным — на спине и груди — плакатом, на котором всемирно-известная надпись: «Беру любую работу».

В это время подкатывает к светящемуся невдалеке кабаре такси. Еще не успел американский турист шевельнуться на мягком сиденье, как наиболее предприимчивый молодой человек уже отворил дверцу — и, кажется, он получил целых десять пфеннигов! Он принесет эти пфенниги жене, ребенку, сестре, матери, и конечно же не понесет он их в какой-нибудь магазин, заваленный все дешевоющими, но все равно недоступными подавляющему большинству товарами. На собранные пением, музыкой, спичками, шнурками, милостыней пфенниги будет несытная еда в тесных, набитых голодными людьми комнатах, — отнюдь не получит эти дра-

гоценные пфенниги кондуктор автобуса или шофер такси, хотя ноги ноют от голода и усталости. Такси — недоступная подавляющему большинству роскошь, и на улицах Берлина нет той лавины автомобилей, которая полагается по штату мировому городу.

Но зато есть лавина велосипедов. Покорные световым сигналам на скрещении улиц и площадей, велосипедисты останавливаются, затем катят дальше, вновь останавливаются и вновь катят. Их много, и большинство их все в тех же цветных спортивных рубашках — зеленых, синих, желтых — и коротких, чуть ниже колен, штанах, шароварами нависающих над чулками. Эта пестрота рубашек уже знакома так же, как эти голодные лица. Сколько безработных среди этих велосипедистов? Сколько их разъезжает на велосипедах по городу в поисках работы?

Разноцветны и блистательны огни Берлина. Они выплывают над городом буквы рекламы, они лентами строчат последние известия, они, переливаясь, зовут в кино, кафе, кабаре, они старательно подражают Парижу — пусть останется во мраке истинное лицо Берлина! — они как можно бодрее и веселее светят туристам и фланерам, прогуливающим разноцветно — в синее, зеленое, красное — одетых женщин с мальчишескими, по последней моде, фигурами. Они внушают всем и каждому, кто только желает обмануться, что никакой катастрофы нет, что кто-нибудь спасет Германию от репараций и революций. И в звуковом кино, технически великолепном, где передается каждое дыхание, каждый шлепок, показывается, как крупный буржуа по ночам стал вдруг общаться с берлинской беднотой, сошелся с работницей — это, конечно, психоз! Он сам не понимает, что делает! Но семья, друзья, доктора приходят на помощь — они убеждают, разъясняют, лечат, и вот буржуа

выздоровел от этой страшной болезни, — работница утешается легкомысленной песенкой патефона, буржуа сидит в своем роскошном особняке с моноклем в глазу, успокоенный, счастливый, застрахованный от всяких угроз. Не уступайте! Не сдавайтесь! — так проповедуют огни Берлина всем буржуа.

Сквозь разноцветные и блистательные огни Берлина, сквозь заваленные товарами магазины, сквозь чистоту и опрятность улиц, домов, квартир, одежд, сквозь лавину велосипедов, спичек и шнурков для ботинок, сквозь музыку и пение — приезжий выглядывается в истинное лицо германской столицы, и глубокое несчастье немецкого народа, немецкого пролетария потрясает его.

— Этот завод закрыт, — говорит инженер, случайный спутник по купе. — Этот — тоже. И этот.

Он устал перечислять.

Поезд мчится на юг от Берлина. Страна безработных — громадами заводов и фабрик, рекламными плакатами, черепичными кровлями деревень, узкими улочками старинных городов, готикой кирх, полями, лесами, автомобилями, мотоциклами, велосипедами, пешеходами — проносится мимо окон.

— У меня есть друг в Магнитогорске, — говорит инженер, помолчав. — Скажите, прошу, не мог бы я в вашей стране работу получить?

У человека есть, может быть, пара грошового, заштопанного, но все же приличного белья, поношенный, но все еще приличный костюм, галстук, ботинки и прочее, есть даже, может быть, часы на руке, есть велосипед. Он умеет беречь вещи, обращаться с ними, он привык жить в чистоте, он, может быть, ежедневно бреется, оттачивая грошовые бритвенные ножи, он знает цену пфеннига — он всегда зарабо-

тывал право на жизнь трудом. Но у него, раба капиталистической системы, нет работы, то есть денег, то есть пищи, и постоянная угроза сокращения и без того скудного, никак не спасающего от голода пособия висит над ним. Вещи, которые есть у него, он никому и нигде не продаст — ими завалены магазины. И если он устал, если он не может больше видеть голодных глаз семьи, если, несмотря на молодость, уже пошатнулось его здоровье, если он не чувствует в себе больше сил для борьбы с нищетой, с голодом, с виновником всех бед — капитализмом, — то он, в приличном костюме, при часах, при велосипеде, в минуту отчаяния кидается вниз головой в глубокий двор.

В этот огромный резервуар нищеты, голода и горя брошены миллионы людей.

— Наш порядок придет через коммунизм, — говорит с окончательной уверенностью молодой безработный, за организацию коммунистической ячейки прогнанный с завода.

Но попадаются и такие, как этот вот безработный приказчик:

— Schlimm, — говорит он (это — его любимое слово). — В Германии — плохо. Музолини (обязательно это «з» у немцев) навел хороший порядок в Италии, а у нас — плохо, schlimm. Порядок придет через Адольфа Гитлера.

Ему обещана фашистами работа, и он несет уже в себе все возможности для нее.

У вокзала стоит газетчик с пачкой «Фелькишер беобахтер». Если покупатель — фашист, то — поднятие рук, «Heil Hitler!» — и только потом пфенниги и газета.

— Как стыдно! — говорит ему, подходя, большой, ранше, наверное, толстый, но теперь осунувшийся немец. — Продался, собака!

— Когда жрать нечего... — отвечает газетчик настороженно.

— У меня шестеро, — не отстаёт бывший товарищ газетчика, — а у тебя двое.

Газетчик молчит. Двое! Молодая жена, которая каждый вечер убеждала, плакала, наставляла, ругала, грозила самоубийством. Молодая жена и ребенок. Жена и устроила ему эту работу тут, у вокзала.

— Что ж, убивать меня будешь? — спрашивает его бывший товарищ.

Газетчик молчит. Долго ли выдержит он? Еще можно бросить пачку газет и вернуться к прежним товарищам, к настоящим надеждам, в то будущее, которое он строил вместе вот с этим не отстающим от него отцом пятерых детей. Или обмануться обещаниями гитлеровцев и не видеть того, что они делают, — стиснув зубы и закрыв глаза, бить бывших товарищей? Долго ли выдержит он? Или, может быть, он уже конченный человек? История революций знает много предательства и ренегатств.

Бывший товарищ, плюнув, отходит от него, как от прокаженного.

«Heil Hitler!» — и прохожий протягивает газетчику пфенниги.

«Heil Hitler!» — и газетчик дает прохожему фашистскую газету.

«Heil Hitler!» — и уже молодцы в форме пытаются выкинуть еврея-рабочего на полном ходу из поезда подземки. Они действуют по программе (пункт 4): «Kein Jude kann Volksgenosse sein».<sup>1</sup> Есть еще более выразительный лозунг на этот счет: «Nieder mit Juden!» — «Бей жидов!» Вон ино-

---

<sup>1</sup> Ни один еврей не может быть другом народа (нем.).

родцев и иностранцев! Германия — для немцев! Общность интересов, классовая солидарность международного пролетариата, Интернационал — все это вздор! Бей всякого, кто утверждает это! Бей коммунистов, «красных убийц», врагов немецкого народа!.. Мы требуем единения всех немцев... Великая Германия... «Volksgenosse kann nur sein wer deutschen Blutes ist».<sup>1</sup> Что-то слышится знакомое?.. Да, это весьма похоже на русское черносотенство.

Еврей борется при испуганном молчании обывателей в мягких шляпах, он добрался до остановки и выскакивает на платформу. Полиция ничего не замечает. Это — в центре города, в центре Берлина, днем.

Этим молодцам уже разрешена форма. Группами — всегда группами — ходят они по Берлину в полной своей форме, новенькой, заготовленной и розданной, несмотря на нищету и голод. Они напоминают молодцов из батальонов смерти русского семнадцатого года: кепи, гимнастерка, даже шнурки, как у тогдашних вольноопределяющихся, только на рукаве не череп, мгновенно в лоск покорявший романтических барышень, а фашистский знак. И есть немало среди них тех, кто в Берлине, в Мюнхене — в девятнадцатом и прочих годах — убивал и расстреливал революцию.

«Neil Hitler!» — и в Берлине открывается фронт, моабитский фронт, с которого ежедневно поступают сводки: «убито столько-то, ранено столько-то».

Двенадцатый час ночи. Шофер отказывается везти на Моабит, другой — тоже: последняя ночная сводка с фронта пугает их. Третий шофер довозит нас до больницы, адрес которой называет моя спутница, журналистка.

---

<sup>1</sup> Другом народа может быть только чистокровный немец (*нем.*).

— Здесь — ничего, дальше — опасно, — предупреждает шофер, отъезжая.

Испуг тут в эти дни — повсеместен. Испуг, доходящий у иных до паники и бессонных ночей. Испуг — среди обывателей, среди большой части интеллигенции.

— Форма нарочно разрешена, чтобы вызвать драку и покончить и с левыми и с правыми разом, — убеждал меня как-то бородатый немецкий интеллигент, левый интеллигент. Он говорит это с грустью, хотя все события опровергают его слова в части, касающейся правых. Но есть, конечно, и такие, которые говорят это же с надеждой — хорошо бы покончить как с фашистами, так и с коммунистами! Иные из них уже к концу июля жаждали хоть бы очень правого, очень правого правительства — только бы не гражданская война! Но все же большинство интеллигенции, профессиональной интеллигенции, левеет под влиянием событий.

А о гражданской войне ползет шепот по углам, по комнатам, квартирам, это слово «Bürgerkrieg» слышишь повсюду.

На моабитском фронте, в рабочих районах Берлина — полиция. Чем глубже внедряться в этот район, так резко непохожий на огнями залитые центры Берлина, тем пустынные улицы, тем больше полиции. Когда много безработных, много работы для полиции. На всех углах — патрули полицейских с винтовками, вот примчались к этому патрулю два мотоциклиста, соскочили, свет электрического фонаря блеснул на миг.

— Нельзя тут останавливаться! — цыкнул на нас полицейский.

Еще месяц до объявления военного положения в Берлине, но разве — фактически — это уже не военное положение?

Полиция — везде, и, конечно, прежде всего там, где коммунистическое собрание.

Огромный грузовик с добротными, мясистыми полицейскими сворачивает в темную, глухую, пустую от края до края улицу и мчится, грохотом будя и без того тревожную ночь.

Можно научиться распознавать фашистов и без формы. Этот не в форме. Бесспорно — не просто кулаком, а кастетом он ударил рабочего по голове там, у ворот, потому что рабочий пошатнулся, и товарищ, левой рукой поддерживая его, правую сунул в карман, и эту правую руку схватил другой фашист...

— На семь пятьдесят семь, — говорю я, сдавая вещи ноильщику.

— На семь пятьдесят восемь, — поправляет он меня, укоризненно упирая на слово «восемь», — я ошибся на целую минуту! Я осмелился сказать приблизительно! И зачем топириться, если, например, до отхода поезда осталось еще сорок секунд! Целых сорок секунд!

Ресторан на вокзале залит светом. Пиво — настоящее пильзенское. Два-три фашиста за столиками — благопристойны и тихи. Женщины, мужчины — за пивом, кофе, чаем — ждут поезда. Поезд отходит в семь пятьдесят восемь, а отнюдь не в семь пятьдесят семь. Все благоустроено, все прекрасно, все прилично, Так убеждает вокзальный ресторан. Поезд идет в Мюнхен, столицу Баварии.

В Мюнхене мне надлежало собрать материалы о суде над Евгением Левинэ, председателем Совнаркома Баварской советской республики, расстрелянном контрреволюцией 5 июня 1919 года, после разгрома Советской власти.

Центром Баварской советской республики был Мюнхен, там разворачивалась деятельность Левинэ как руководителя ком-

мунистов, там происходил суд, и, наконец, там, как мне говорили, находились те два человека, которые присутствовали на суде и могли рассказать мне о нем.

Жена Левинэ и его друзья были в те дни арестованы, некоторые, как Эгльгофер, погибли, а эти двое были в полицейском застенке, где происходил суд.

На помощь одного из них, правда, рассчитывать было трудно. То был адвокат, защитник Левинэ на суде, не фашист, даже, как говорили, противник фашизма, но граф, богач, член баварской народной партии, совершенно далекий от коммунистов человек. Он защищал, в сущности, на суде буржуазный закон, запрещавший смертную казнь за политические убеждения. Буржуазный юрист-законник, ни в какой мере не сочувствовавший коммунистическим идеям.

Но другой из этих двоих очевидцев и свидетелей судебной процедуры в дни Баварской советской республики сочувствовал коммунистам, считался даже другом Левинэ. Его надо было найти во что бы то ни стало. На его помощь возлагались все мои надежды.

*Август 1932*

## ФАШИСТЫ В МЮНХЕНЕ

В огромном здании Государственной библиотеки не просто тишина, а тишина торжественная — *silentium*. В обширном зале, где молчаливые мюнхенцы — преимущественно студенты и студентки — работают за длинными столами, согнувшись над фолиантами, книгами, книжками, журналами, газетами, — в

этом зале господствует плакат, строгий, как военный приказ, — «Silentium».

Ни скрипа, ни шепота.

На столе передо мной — комплекты газет девятнадцатого года, газеты Баварской советской республики и несколько книжек и брошюр.

Я перелистываю одну книжку — о Левинэ, коммунисте, председателе Совнаркома Баварии, расстрелянном белой юстицией 5 июня 1919 года, и нахожу в конце, как резюме, карандашную надпись — грубую, безобразную фашистскую надпись: «Heute kräht kein Hahn nach dem Judenbengel».<sup>1</sup>

Эта надпись — как выстрел в тишине. Газеты, лежащие передо мной, — не давняя история, это сегодняшние газеты, сегодняшняя борьба!

Я подымаю голову. Я вглядываюсь в тех, что склоняются над столами. Так и есть — у студента, что нанюхивается от меня хмурит брови над толстой книгой, красуется в петличке пиджака фашистский знак. Такой же знак — у того, за соседним столом. И еще. И еще.

Без скрипа, без шелеста входит в зал еще один студент. Не успеваю я заметить мудреный знак на его пиджаке, как он, подняв ладонь, приветствует гитлеровца за моим столом, и тот, не раздвигая губ — Silentium! — ответно поднимает руку. На улице он сказал бы: «Heil Hitler!»

Их не разглядишь тут сразу. Гордая Бавария не подчинилась Пруссии, не разрешила своим гитлеровцам надеть такую красивую, такую шикарную форму. А за Баварией — Баден и почти весь юг Германии. Говорят уже об отпадении «южных штатов». Некий баварский министр уже про-

---

<sup>1</sup> Сегодня ни один петух не прокричит об этом еврейском типе (нем.).

лепелал английскому корреспонденту что-то о монархии как о единственном выходе из тупика и потом долго и невнятно отмежевывался.

Бавария гордится — ни одного убитого, ни одного раненого в то время, когда уже со всех концов Германии, а не только с моабитского фронта в Берлине, идут сводки о «подвигах» фашистов.

Но очередной приказ — и вновь, в который уже раз, побежден сепаратизм Баварии и юга. И новенькая форма, так похожая на форму русских «батальонов смерти» семнадцатого года, торжествует на улицах Мюнхена. Фашистский знак — уже не в петличке пиджака, маленький, не очень заметный, а на рукаве — большой, видный издали, как череп все у тех же вольноперов семнадцатого года, тех вольноперов, что дали кадры белым армиям нашей гражданской войны.

«Мы требуем единения всех немцев!», «Только тот может быть гражданином немецкого государства, кто немецкой крови, безотносительно к вероисповеданию», «Проснись, немец! Порядок идет через Адольфа Гитлера!..»

Он шествует, этот порядок, в полной форме, с фашистским знаком на рукаве, по улицам Мюнхена. Он шествует по городам, селам и деревням Германии, этот знакомый порядок, еще в догитлеровские времена бросивший кулаков в баварском оперении на революционный Мюнхен. Порядок, открывший стрельбу по рабочим в районах Берлина, стрельбу во всей Германии. Нет Интернационала, нет классовой солидарности пролетариата, есть немцы — чистые, без примеси, немцы, которым Адольф Гитлер даст Великую Германию, которых Адольф Гитлер избавит от репараций, безработицы и нищеты. Немец, проснись! Проснись, немец, и дай власть Адольфу Гитлеру!

Тихи, теплы и приветливы улицы, улочки и закоулки Мюнхена. Зеленью садов и парков дышит южный немецкий город, раскинувший громаду своих зданий по обоим берегам Изара, предпочтение отдав, впрочем, левому берегу. Знаменитые Пинакотеки. Знаменитый «Deutsches Museum». Над Терезинным лугом, на пьедестале чуть ли не в десять метров высоты — могучая, ростом в двадцать с лишним метров, женщина, сработанная из металла турецких и норвежских орудий. Это — статуя Баварии, тоже знаменитая.

Здесь суровые зимы — высота более пятисот метров. Но сейчас лето. Тепло. Зелень. Легкая одежда на людях. Только у полицейских тяжелые старомодные каски на головах.

За столом постоянных посетителей, уважаемых посетителей, за большим столом посредине большой пивной, хорошо пьется настоящее мюнхенское пиво, замечательное мюнхенское пиво. Молчаливые баварцы посасывают свои замысловатые трубки за столом постоянных посетителей. Редко-редко обронит кто-нибудь из этих почтенных посетителей слово, да и то такое, что только баварец и поймет: тут свой язык. И одежда — своя, баварская. И обычай — кто допил кружку, тому без лишних вопросов ставится новая, полная пива. Таких, кто спрашивает полкружки, нет за столом постоянных посетителей. Если такой попадет в пивную, гордая баварка, та, что разносит пиво по столам, ответит:

— Приходи, когда научишься пить целую.

А впрочем, может быть, сейчас и не ответит так. Подаст полкружки. Безработица меняет обычаи — ведь и на пиво нужны деньги, а чтобы были деньги, нужна работа. Безработных и нищих Мюнхен знает не хуже Берлина.

Слово, глоток пива, посасыванье трубки, опять слово,

опять трубка повисает в губах — и вот куплена последняя корова у бедняка.

Хорошо сидится богатому крестьянину за столом постоянных посетителей! Хорошо пьется мюнхенское пиво, хорошо курится замысловатая трубка, хорошо ходится в католический храм, хорошо читаются — вперемежку — то католическая газетка, то гитлеровская «Фелькишер беобахтер».

Звякают по улицам голубые трамваи, проносятся авто и — как в Берлине — лавины велосипедов. То и дело видишь ребят, глазеющих из корзинок позади сиденья, — так сопровождают они мать или отца в велосипедных прогулках. Баварские народные костюмы разнообразят и пестрят толпу, голые загорелые колени выступают из-под коротких штанов мужчин.

Но вот и площадь, на которой массивным обелиском отделался город от павших в войну баварцев. Дальше по-русски говорить не рекомендуется: за площадью, на Бриеннерштрассе, 45 — штаб фашистов.

Неподвижно и молчаливо стоят на панели против фашистского штаба мюнхенцы. Они стоят и смотрят — загадочно, почти тупо. Редкий прохожий не остановится тут или хоть на ходу не обратит лицо к резиденции фашистов.

В зелени сада белеет светлое, веселое трехэтажное здание. Это знаменитый «коричневый» дом. Высоко, на изогнутой шее столба, висит электрический фонарь, у входа — второй, низкий. Длинный балкон, под которым дугами замыкаются окна первого этажа. В полукруге над входом надпись: «Немец, проснись!» Флаг с фашистским знаком тихо колыхается на ветру. Рядом — другое здание, поменьше, для хозяйственников, тоже с фашистским флагом на крыше. За решеткой сада — справа и слева от штаба — фашистские патрули. У фашистов тут лица окаменелые, гордые интере-

сом, который они возбуждают, испугом, который они внушают посетителю. Тут — «сознательные», стойкие фашисты. У входа — караульный.

Входят и выходят важные и неважные фашистские чины. Поднятие руки — «Heil Hitler!» Автомобили, мотоциклы, велосипеды подъезжают и отъезжают.

Ветер свежеет, солнце тускнеет в облаках; может быть, будет дождь. Но никто из здесь стоящих не обращает на это внимания — их гораздо больше интересует погода, идущая отсюда, из этого светлого трехэтажного здания. Одежда в новенькую форму, она, по их мнению, готовит грозу куда более страшную, чем те — с ливнем, громом и молнией, — что вдруг ударяют по Мюнхену. Несытые властью фашисты готовят в ближайшее воскресенье демонстрацию — первую после разрешения им формы в Баварии! Перед толпой «сознательных» и одураченных выступит сам вождь, Führer — сам Адольф Гитлер!

«Adolf Hitler spricht»<sup>1</sup> — этими тремя словами заклеены все углы.

У инженера, случайного спутника по купе в поезде Берлин — Мюнхен, не хватило слов для характеристики фашистов. Он состроил свирепое лицо, взял воображаемую винтовку наперевес и пошел, изображая фашиста, в атаку на остальных пассажиров.

Группами — всегда группами — ходят гитлеровцы и по улицам Мюнхена. Настороженно, испуганно смотрят на них прохожие, оборачиваясь на ходу, подчас останавливаясь и оглядывая каждого с ног до головы. Столкнулся лицом к лицу и с открытой ненавистью взглянул на фашиста вот тот, в кепке, железнодорожный рабочий, может быть один

---

<sup>1</sup> Говорит Адольф Гитлер (нем.).

из тех, кто оставил никакими ливнями не смываемые красные надписи: «Выбирайте Тельмана!» Надписи эти — еще с президентских выборов.

Ни одного убитого, ни одного раненого. Но, кажется, тут напряженней, ожесточенней, острее, чем в Берлине. Один только выстрел — и...

— Вот тут был убит Курт Эйсер, здесь, у панели, стояла лужа крови. Граф Арко подошел к нему с той панели — сейчас он видный фашист. Но Курт Эйсер — он не был настоящим революционером, нет, я любил Левинэ, Эгльгофера...

Немец, игравший в те дни, дни Баварской советской республики, некоторую роль, увлекся — он размахивает руками, говорит слишком громко, на нас уже оборачиваются.

Немец замолк, нахмурился — он забыл на миг, что в эти дни нельзя громко и сочувственно вспоминать о Левинэ, Эгльгофере... Это не мертвые имена, это живые имена, памятные мюнхенцам, это живая сегодняшняя борьба. И улицы полны теми, кто марает библиотечные книги грубыми фашистскими надписями. И, конечно, судьи Левинэ как хозяева ходят на Бриеннерштрассе, 45. Им хочется поскорей посадить на скамью подсудимых всех, кто так горячо вспоминает о днях Баварской советской республики, всех, чья память хранит опыт разгрома для будущих побед...

Но этого коллекционера, наверное, не тронут фашисты. Седой, в белом халате, он вглядывается в меня маленькими, чересчур внимательными глазами и говорит, кривя рот (у него — кривой рот, удар, видимо, хлопнул):

— У меня все есть. Все. Все газеты тех лет. Прокламации. Может быть, вам нужна маска Курта Эйснера?

— Нет, мне не нужна маска Курта Эйснера. Мне нужно полицейское объявление о поимке Левинэ.

— Это стоит денег, — отвечает криворотый старик.

— Сколько?

— Сто марок.

Я не могу заплатить сто марок — это для меня слишком дорого.

Старик ведет меня в комнаты. Он пронзительно вглядывается в меня, соображая, кто я и зачем мне документы о Левинэ. В сложном переплете политической борьбы он ищет только одного — денег, и цена, которую он называет, вполне зависит от нужности того или иного документа в сегодняшней борьбе. Он понимает, что у него не какой-нибудь потерявший актуальность исторический архив, годный только для седовласых педантов.

Старик говорит:

— У меня работают в этой комнате все партии. У меня есть все, все. Но это стоит денег.

Старый хищник не заблудится в политических джунглях. И он не одинок. И конечно же найдется ему место за столом постоянных посетителей, за большим столом посредине большой пивной.

Демонстрация фашистов — завтра.

Собрания под открытым небом воспрещены. Фашисты сняли пустырь и надстраивают над ним покрывку. Пустырь — на окраине, между стадионом и новым кварталом, в котором высочайшее и широчайшее горло газометра возвышается над бетоном желтых, синих и зеленых домов, несколько смахивающих на казармы. Новый квартал, законченный в прошлом году, строился целых семь лет.

«Gebt Adolf Hitler die Macht — 2 Liste!»<sup>1</sup> — такими лентами опоясан огромный шалаш. И как там, на Бриеннер-

---

<sup>1</sup> Дайте власть Адольфу Гитлеру — 2 бюллетень! (нем.).

штрассе, 45, так и тут, между стадионом и новостройкой, стоят и смотрят мюнхенцы на энергичную деятельность фашистов.

Печальный немец с зонтиком спокойно, как давно знакомый, обратился ко мне, сообщая результаты своих вычислений:

— Здесь поместится тридцать тысяч человек. Так они и хотели — на тридцать тысяч человек.

Он замолкает, дышит, — у него, должно быть, больное сердце.

— В каждом ряду скамья на сто пятьдесят человек, скамей — двести, итого — тридцать тысяч человек. Земля и шалаш обошлись в тридцать пять тысяч марок.

Он, должно быть, преподаватель математики или, еще верней, бухгалтер. Безработный бухгалтер, тоскующий по grossбухам и сытой жизни. Он отходит, проговорив обычное «гут таг» и приподняв потрепанную мягкую шляпу.

К утру автомобили, мотоциклы, велосипеды уносят испуганных обывателей за город. Мюнхен замер, притаился в напряженном ожидании.

Наехавшие отовсюду штурмовики владеют Мюнхеном. Колоннами, со всех концов города, маршируют они по улицам, чтобы сойтись к шалашу. А рядом, на стадионе, предостоят гимнастические упражнения католического спортивного союза.

Колоннами, со всех концов города, маршируют католики по улицам Мюнхена, чтобы сойтись к стадиону. Шуцманы охраняют их — восемь шуцманов на шесть католических барабанщиков — католики народ нежный, они совсем не хотят драться.

Колонны гитлеровцев маршируют по Мюнхену. Они сами себе охрана. Но сколько среди них таких вот, как этот, в пенсне, щупленький, тщательно старающийся нагнать на свое

острое, худое лицо бодрость и наглость? Сколько среди них и таких вот, как этот, избегающий смотреть по сторонам, плотный, коренастый, в глазах которого застыло недоумение и, кажется, даже отвращение? Сколько одураченных или продавшихся?

Но у командного состава — точные, выверенные движения. На перекрестке колонновожатый, шагнув вперед, делает полицейский жест рукой — и останавливаются автомобили, велосипеды, пешеходы. Грузный шуцман не хочет замечать, что фашист заменил его, что фашист исполняет его обязанности.

Сталкиваются и без драки пропускают друг друга колонны гитлеровцев и католиков — как воплощение мыслей и колебаний баварского богатея.

Шпалерами по всем близлежащим улицам стоят мюнхенцы. Многие стоят и смотрят загадочно, почти тупо. Но у многих — совсем незагадочная ненависть на лице..

На стадионе католические юноши занимаются гимнастикой, а рядом, в огромном шалаше, над нищетой, горем и несчастьем немецкого народа, перед толпой «сознательных», одураченных и продавшихся, перед замысловато одетыми баварцами — подымается незамысловатая фигура Адольфа Гитлера..

К вечеру оказывается — все еще ни одного убитого, ни одного раненого. Ни одна из провокаций гитлеровцев не удалась. Испуганные обыватели, удравшие утром, возвращаются в город.

Ни одного убитого, ни одного раненого в Мюнхене. Длятся душные, предгрозовые, «парламентские» дни..

*Август 1932*

## БАВАРСКИЙ АДВОКАТ

В эти дни удалось наконец найти человека, который считался в девятнадцатом году другом Левинэ и присутствовал на суде. Он оказался в Швейцарии. Ему было написано письмо. Ответил не он, ответила его жена. Она писала, что они хорошо живут, у мужа магазин, и ее муж хочет забыть о своем «темном прошлом», не желает иметь дело с каким-то большевистским писателем, приехавшим из России. Так мне передали. Так случилось, что человек, на которого возлагались все надежды, отпал.

Я ходил по улицам Мюнхена, единственный советский гражданин в городе, полном фашистов, и соображал, как быть. Вернуться без материалов о суде невозможно. Надо во что бы то ни стало встретиться хоть с одним очевидцем, тем, кто был на суде, видел, слышал, может передать — пусть ошибочно, это можно выправить — атмосферу, обстановку суда, дать зримо то, как это происходило.

Я ходил, ходил, думал, думал и свернул к богатому особняку, где жил граф — адвокат, защитник Левинэ. Конечно, риск, но что делать?

Я вошел в огромную приемную. Посреди нее бил фонтан — впервые я видел фонтан в закрытом помещении. Струи воды невысоко взлетали и падали вниз красиво и почти бесшумно. В бассейне плавали золотые рыбки. У стен на стульях сидели молчаливые, хмурые, небогато одетые люди. Клиенты. Может быть, просители.

Тишина. Только легкий плеск воды. И легкий шелест скользящих по паркету модных туфелек — ко мне на пуантах порхнула девушка в светлой блузке, в коротенькой

светлой юбочке, с улыбкой на загорелом, широком, со здоровым баварским румянцем, чуть скуластым лице. Она протянула мне руку так, словно я пригласил ее на тур вальса.

В руке у нее был листок. Фея приемной, секретарша, просила заполнить анкету.

Пожалуйста.

Имя. Фамилия.

Кто такой? Советский писатель.

По какому делу?..

По делу Евгения Левинэ.

Нимфа исчезла, а я опустился на свободный стул и начал считать ожидающих приема. Каким я в очереди? Двадцать пять, двадцать шесть...

— Пожалуйста. Прошу.

Я не уследил, каким образом секретарша вновь очутилась передо мной, — она не бегала, а летала. И так быстро!

Она вне всякой очереди повела меня к графу, к его сиятельству, к его неизвестной политической ориентации, которую столь резко меняли люди в те дни, к неведомым последствиям моего не очень-то осмотрового поступка.

Дверь кабинета отворилась, и я оказался среди чучел и рогов, торчавших, казалось, отовсюду — из всех углов, сверху, справа, слева. На стенах этого мягкого, в коврах и звериных шкурах кабинета висели картины с лосями, орлами, собаками. Чучела птиц глядели на меня со шкафов своими строгими, мертвыми, стеклянными глазами.

В глубине кабинета возвышалась за большущим столом неподвижная коренастая фигура в живописной баварской охотничьей куртке. Борода и усы придавали лицу какой-то лесной вид, они были как у лешего. А может быть, и у фавнов бывали такие волосатые лица.

То был сам граф. Оставшись в этом баварском лесу с глазу на глаз с хозяином (секретарша упорхнула), я пошел к нему. Он вежливо подал мне руку и указал на кресло.

Коротко я объяснил ему цель моего визита.

Граф вымолвил медленно, голосом густым и негромким:

— Я понимаю, что вы русский писатель. Но я хотел бы знать, *какой* вы русский писатель.

На слове «какой» он сделал ударение.

На листке, который лежал перед ним, ясно было написано моей рукой «советский». Но графа, очевидно, в данном случае не удовлетворяли сведения, не подтвержденные документально. Юрист. Ему был нужен мой паспорт.

Я вытащил из кармана свою «краснокожую паспортину», развернул и, не выпуская из рук, показал ему.

Он внимательно, своими маленькими, медвежьими глазками прочел, всмотрелся в фотографическую карточку и тотчас же перевел взгляд на мое лицо, сравнивая. Затем кивнул головой.

Я сложил листы паспорта и сунул его обратно в карман.

Пауза.

Граф сидел молча, неподвижный, почти зловещий в своем дремучем молчании.

Наконец рука его поднялась, потянулась к кнопке звонка и нажала.

Весьма возможно, что сейчас меня выведут. Может быть, даже выгонят, вытолкнут. Такое время, такой город и такая накаленная атмосфера, что все возможно. Почему бы графу, о котором мне говорили как об антифашисте, не оказаться сегодня фашистом? Такие мгновенные повороты совершались вокруг каждый день, каждый час, каждую минуту. Может быть, попросту я забрался сдуру в фашистское логово.

— Господин граф?..

Это появилась очаровательная секретарша.

Вот она и получит сейчас приказ выбросить меня из дому, и я лишусь последнего шанса получить материалы о суде.

Но все повернулось так, как только мечтать можно было.

Граф спросил меня:

— На сколько часов я вам нужен?

Я проговорил:

— Часа два-три.

— Этого мало, — заметил граф. Подумав, сказал секретарше: — Сегодня приема не будет. Пусть все, кто ждет, придут через день.

И вновь перевел взгляд на меня:

— Я к вашим услугам.

Серьезнейшую поправку внесла жизнь в мои предвзятые представления и планы. Ничего не вышло с человеком, от которого я рассчитывал узнать все, что нужно. Получил же я все необходимые сведения от того, на кого почти и не надеялся.

Граф показал мне и дал списать последнее письмо Евгения Левинэ. Он рассказал мне о Левинэ все, что ему было известно. Он осветил мне обстановку, атмосферу суда. Сообщил даже, как кто был одет, как вела себя публика, все до мельчайших подробностей. По моей просьбе он нарисовал на листе бумаги, кто где сидел. Ни одного вопроса моего он не оставил без ответа.

В его рассказе чувствовалась явная симпатия к Левинэ. Неожиданный все-таки граф. Антифашист, это ясно, но все же трудно было ждать такого тона, каким говорил он, и такой готовности предоставить все сведения советскому писателю.

Граф посвятил мне не два-три часа, а весь день, до сумерек. В то время (осень 1932 года) я мог свободно объясняться на немецком языке, теперь бы уже не мог.

Наконец, выяснив все, что мне было нужно для книги о Левинэ, я поднялся, поблагодарил:

— Я очень обязан вам.

— Мне необходимо было знать, что вы именно советский писатель, — отозвался граф. — Это значит, что вы не опорочите память моего клиента.

Это говорила в нем адвокатская этика.

Затем граф продолжал:

— Левинэ был казнен противозаконно. Его не имели права приговорить к смертной казни. Суд нарушил закон.

После некоторой паузы он добавил:

— Левинэ был очень мужественный, очень убежденный человек. Очень умный, образованный, культурный человек. Очень убежденный, — повторил он, — и очень храбрый.

Голос адвоката несколько изменился, стал мягче и глубже. Очевидно, образ Левинэ неизгладимо запечатлелся в душе этого никак не причастного к коммунизму, далекого от коммунистических идей буржуазного юриста.

Оставалось еще время для того, чтобы перед Берлином посетить Федина, который лечился в Сен-Блазиене от туберкулеза. Я дал знать Федину, что еду, взял билет и отправился в путь.

Боденское озеро, прозрачное, сине-зеленое, казалось голубым в дымке глубоко под окнами поезда. Зеленый берег выступал вдали. Так все было мирно в природе и так все было немирно у людей. Чуть отвернешься от окна, так и выплывают в памяти колонны марширующих фашистов.

Когда я сошел с поезда, мне ужасно хотелось домой, в Россию.

Автобус долго шел в гору, петляя, забираясь все выше.

Вот показались в зелени дома курорта.

Кто-то неподвижно стоял на дороге. Чем ближе подъезжал автобус, тем ясней вырисовывалась одинокая, неподвижная фигура. В сером костюме, высокий, светловолосый, стоял и ждал меня Федин. Он вышел встречать.

Мы обнялись, два советских писателя, в стране, летящей, как в пропасть, в фашизм.

*1957*



# ПИСАТЕЛЬ- ПОГРАНИЧ- НИК



## ЛЕВ КАНТОРОВИЧ

**В** начале тридцатых годов ко мне явился очень молодой и очень красивый мужчина в сером ворсистом пиджаке, с широким галстуком, свободно падавшим на грудь.

В комнату вошло воплощенное здоровье. Веселая сила молодости, натренированной во всех видах спорта, чувствовалась в этом невысоком, мускулистом человеке, широкоплечем, широкогрудом, с большим улыбающимся лицом. Светлые волосы его круто зачесаны были к затылку, открывая выпуклый белый, без морщинки, лоб.

Он был как будто очень прост, но в ясном и прямом взгляде его серых, стального блеска, глаз светился чуть насмешливый, все замечающий и взвешивающий ум. Эти глаза настораживали. В трезвой молодости, вошедшей ко мне в кабинет, не было ни наивности, ни неопытности. Мне подумалось, что душа этого человека должна быть такой же мускулистой, испытанной в борьбе, как и тело.

Он назвал себя.

Это был Лев Канторович, о котором я слышал как о художнике, участнике арктической экспедиции на ледоколе «Сибиряков». Но в рассказах, которые он дал мне, не было ни слова об этом замечательном походе, совершенном в лето 1932 года по Северному морскому пути. Путешественник по Арктике принес мне рассказы о битвах пограничников с басмачами в азиатских жарких песках, которые были ему, оказывается, известны еще лучше, чем северные льды.

Короткая, суховатая, резкая фраза, штриховой рисунок простейшего сюжета — все способно было вначале оттолкнуть невнимательного читателя чрезмерной своей жесткостью. Слова, казалось, высушены были на раскаленных горячим солнцем песках и белели, как кости на пути неведомых караванов. Никакой влаги. Эти обрывистые, колючие строчки вводили в обман.

Однако всякому любящему литературу и жизнь можно было усмотреть в подтексте еще не проявленную глубину и разнообразие жизненного опыта, а в сухости языка — нечто зазорное, нарочитое, вызывающее на бой. Здесь были сознательные и упорные поиски наилучших средств для изображения некрикливой отваги, скромного самоотвержения, действительного устремления к новым и новым подвигам. А если нужные слова еще не найдены, то лучше недосказать, остаться на первое время непонятым, чем взять уже готовый штамп

или допустить фальшь. Внимательно вчитавшись в эти первые опыты молодого, начинающего писателя, можно было разгадать очень целомудренный характер автора, старающегося самые глубокие свои чувства выражать с максимальной сдержанностью.

Я не любезничал, зная, что наше литературное дело требует от его участников не меньше выдержки, чем путешествие по неисследованным областям Арктики, что подлинная удача достигается после весьма трудных испытаний и огромным напряжением сил в работе. Подводить излишним либерализмом талантливого человека под удар не следует. В рукописях, принесенных мне молодым автором, талант и богатый жизненный опыт еще не нашли должного художественного выражения.

Канторович стойко перенес возврат этих первых своих вещей, и было приятно, что в литературу он идет без легкомысленных мечтаний о мгновенной славе и немедленном гонораре, а с ощущением новичка-пограничника, впервые вступающего на ночной пост, еще не умеющего как следует отличить шорох птицы от шагов нарушителя, но уверенного, что он овладеет всеми необходимыми знаниями и сумеет, проявив себя в действии, быть полезным стране и заслужить одобрение народа.

Через некоторое время Канторович принес мне несколько новых небольших рассказов, и это были уже достаточно зрелые плоды его упрямой, очень целеустремленной работы; они пошли в печать.

Так началось мое знакомство с писателем и художником Львом Канторовичем. Это знакомство было вскоре скреплено общей нашей дружбой с пограничниками, и мне приводилось чаще встречать его среди пограничников, чем в литературной среде.

Молодое поколение советских писателей, выросшее в эпоху великих подвигов советского человека на земле, на море и в воздухе, почти не трогало тем, решенных старшим поколением, тем коренной перестройки жизни и человека в период становления Советской власти, советского государства. Молодые писатели ввели в литературу героев, возвращенных советским временем, — летчиков, строителей, моряков, пограничников, исследователей. Жадная любознательность, упорство в достижении цели, огромная жизнеспособность, стремительная, через край переливающаяся энергия, буйно соревнующаяся во всех областях жизни, по-разному выражались у каждого из молодых. К этому поколению принадлежал и Лев Канторович.

Канторович был выдвинут в литературу самыми сдержанными и неразговорчивыми деятелями — пограничниками. Характер пограничной службы во многом продиктовал этому писателю, командиру пограничных войск, его внешне суховатый, лишенный каких бы то ни было орнаментов стиль. Канторович, как это подсказывала ему жизнь, стремился в действии передать чувства и мысли своих романтических, неболтливых героев. Это удавалось ему все лучше и лучше. Все ясней и рельефней выступал в его произведениях основной герой, его любимый герой, выражающий и его, автора, личность, — советский человек, борющийся с врагами социалистического государства. Психика врага разоблачается в этих произведениях кратко и с ненавистью, как например сделано это в конце первой главы повести «Полковник Коршунов» — в сцене с Аильчиновым — или в рассказе «Два дня».

Борьба за справедливость, за счастье людей, вдохновляющая героев Канторовича, показана в энергичном действии, в четком сюжете. Сокрушая врага, пограничники несут сво-

боду трудовому люду — таков смысл, например, повести «Кутан Торгоев», в которой дана жизнь бедняка киргиза, ставшего пограничником. «Полковник Коршунов» и «Кутан Торгоев» — наиболее значительные произведения Льва Канторовича, в них тема борьбы воплощена с наибольшей силой. Люди выписаны отчетливо и любовно, их характеры, их жизнь, их судьбы — типичны. Быт пограничников дан скупой и четко. Познавательное значение этих произведений весьма велико.

Герои книг Канторовича сознательно готовят себя для грядущих боев, они тренируют себя в спорте, как показано это, например, в повести «Бой», где бокс и лыжные прогулки предшествуют вступлению молодого человека в пограничные войска. В то же время герои Канторовича при всей сдержанности своей, при том, что они решительно избегают выражения своих личных переживаний в слове, весьма лиричны. Однако лирический мотив всегда приглушен у Канторовича, у его героев господствует мотив долга, высокое сознание ответственности своей перед страной и народом.

В творчестве Канторовича мало что объясняют поверхностные влияния Джека Лондона, Хемингуэя, Киплинга. Если эти влияния были, то они не касались содержания, существа произведения. Я помню, как в одной из рукописей Канторовича злосчастное «и» вдруг зачастило без всякой надобности, а такое вот «и» сразу может подать повод ленивому критику произнести свой приговор — «подражает Хемингуэю, эпигон...» У нас ведь есть ленивцы, которые, выдернув одну цитату или слово, делают немедленный, иной раз даже и смертоубийственный для автора вывод. Вылавливая «и», я упрекал автора:

— Во-первых, это ни к чему. Во-вторых, у вас это плохо. В-третьих, вам опять влетит.

На что он весело и упрямо отвечал:

— Пускай злятся.

Нельзя сказать, чтобы критика баловала этого талантливого и своеобразного писателя. Но он оказался стойким и в этих боях. Канторовичу помогал юмор, помогал трезвый ум, помогало главным образом быстро пришедшее читательское признание. Пограничники в особенности зачитывались книгами Канторовича. Имя Канторовича в пограничных войсках — одно из самых любимых писательских имен.

Канторович как командир пограничных войск участвовал в освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии, — этому походу посвящена его талантливая книга «Пограничники идут впереди». Он сражался в финскую кампанию 1939—1940 годов. О своих действиях в эту войну он ничего толком не сообщал, он отмалчивался, как подлинный пограничник. Кое-что рассказал о его подвигах только второй орден, появившийся на его груди рядом с первым, которым он был награжден за экспедицию на «Сибирякове», да кое-что пояснили также его рассказы о войне с белофиннами.

Все творчество Льва Канторовича посвящено было, в сущности, подготовке к будущей большой войне, оно проникнуто сознанием неотвратимой неизбежности столкновения с фашизмом. И эта война началась.

Первый день Великой Отечественной войны застал Льва Канторовича на пограничной заставе. 30 июня 1941 года мне позвонили из Управления пограничных войск. Сообщение было краткое и точное:

— Убит на заставе Лева Канторович. Сегодня ожидаем прибытия тела.

Политрук Лев Канторович, отражая нападение врага, был сражен пулей в живот. Смерть наступила мгновенно. Он умер

от вражеской пули, этот перенасыщенный жизненной энергией, веселый и сильный человек, жизнь и творчество которого были нераздельно слиты. Посмертно писатель-пограничник Лев Канторович был награжден орденом Красного Знамени.

Литературная деятельность Льва Канторовича была оборвана в самом своем начале, многого, очень многого не доделал, не дописал молодой писатель. Но и то, что им создано, ставит его имя на достойное место в советской литературе.

*1945*



# НА БУЙНОМ ВЕТРУ



ПЕТР  
ПАВЛЕНКО

1



В начале тридцать первого года он появился в Ленинграде. Николай

Тихонов познакомил нас («Павленко, тот самый»), а день-два спустя мы уже сидели в номере «Европейской гостиницы», и Павленко с огромной энергией доказывал, что необходимо сейчас начать большую литературную дискуссию, может быть выпустить книжечку «Разговор пяти или шести», в которой, в статьях пяти или шести писателей, надо бы обнажить все самые больные вопросы нашей литературы, поставить точки над «і» и вообще заговорить в полный голос.

Время было бурное и стремительное. В кратчайшие сроки рождались новые гигантские заводы, вырастали громады новых городов, наша страна преображалась с такой быстротой, какой еще не знала история. Реальная фантастика первой пятилетки вовлекала в работу необычайного размаха все новые и новые миллионы людей. Жизнь доходила до предельного накала. Борьба обострялась до крайности.

Все это, конечно, неотразимо воздействовало на литературу, производило перемены и в литературных организациях, живших разрозненно, не собранных еще воедино. Отдельно существовали Союз писателей в Москве, Союз писателей в Ленинграде, Ассоциация пролетарских писателей (РАПП), «Кузница» и пр. Путаница заседаний, споры и ссоры, «перегибы» и «загибы» во все стороны, вечные, особенно частые в те годы обвинения в «отставании от жизни» — а литература развивалась, росла, мы дружили вне всяких организационных рамок, разъезжали по стране, по новостройкам, и книги диктовала жизнь, прошедшая сквозь совесть, талант и ум писателя. Хотелось не заседать, а писать, а если дискутировать, так о том, что такое хорошо и что такое плохо в жизни и в литературе. Вот такой разговор и предлагал Павленко, в ту пору только что вошедший в руководство Московского союза писателей.

Я не встречался с Павленко в двадцатые годы. Только потом я узнал вкратце его биографию — трудное детство, юность в рядах Красной Армии, работа в советских зарубежных представительствах, сотрудничество в газетах. Павленко не сразу нашел свое место и свой голос в литературе и в писательской общественности. Но к моменту нашего с ним знакомства он, журналист, большевик, уже, видимо, полностью ориентировался и взял точный курс. Он уже участвовал в новом деле — он ездил с первой писательской

бригадой в Туркменистан, и в «Красной нови» была уже опубликована его повесть «Пустыня», которую мы схватили, чтобы издать у нас, в ленинградском Издательстве писателей.

И в Москве и в Ленинграде во главе Союза писателей стояли тогда писатели, начавшие свою литературную деятельность в годы гражданской войны. К этому нашему поколению по возрасту и биографии (с таким еще «экзотическим» дополнением, как заграничная работа) принадлежал и Павленко, но вошел он в литературу позже нас. И он живет в моем воспоминании как писатель, рожденный буйным ветром первой пятилетки. Таким я впервые увидел его, таким и запомнил. И как все передовые люди, он, неутомимый, устремленный в будущее, всеми помыслами своими жил уже в завтрашнем дне.

Небольшого роста, тощий, очень подвижный, он сразу же, с первой встречи, заинтересовывал своей острой, напористой речью, перенасыщенной меткими, весьма подчас ядовитыми характеристиками людей и событий. Легкий тик, дергавший его левое веко (кажется, следствие контузии), придавал своеобразную выразительность его тонкому лицу. Губы его иногда чуть кривились в скрытой усмешке наблюдательного, все примечающего человека, который любит по едва уловимым признакам определять настроение, черту или даже характер собеседника. Очки его не сползали к носу, как у какого-нибудь неврастенического раззявы, они сидели плотно и увесисто. Можно было легко разгадать, что при всей своей кажущейся нервности и порывистости этот человек внутренне очень устойчив. Только устойчивость он находил не в покое, а в движении. Похоже было, что покой ему просто противопоказан. Он был насквозь динамичен и в действиях своих очень целеустремлен.

Уловив в ленинградской литературной среде настроения, схожие со своими, он загорелся мыслью, которая занимала его, и принялся за ее реализацию и у нас. С ним вообще бывало, что он как бы невзначай сходиллся с людьми, но никак не случайно рождалось из новых знакомств общее дело. Он был по натуре своей организатор, и дружбы затевались у него в совместной работе.

Он настойчиво возвращался к мысли о дискуссии, о книжке «Разговор пяти или шести», его письма ко мне тех месяцев и его разговоры полны этой, как он выражался, «затеей». В то же время он путешествовал, писал, внедрялся в самые разные дела, впитывал в себя все происходящее, каждое событие, большое и малое. Все это в душе его быстро обрабатывалось, получало оценку, приобретало особый тон и звучало в его устных рассказах и в литературных произведениях в резко окрашенной «павленковской» форме.

Надо сказать, что Павленко был блистательным собеседником, рассказчиком. Искусством разговора он владел виртуозно. Даже то, что казалось не очень значительным, не слишком интересным, становилось в его изложении ярким или, во всяком случае, занимательным. Его отличала чрезвычайная восприимчивость ко всему живому, ко всему новому, он являлся как бы концентратом всего самого важного, что произошло, его появление на пороге вызывало не только дружескую радость, но и нетерпеливый интерес к тому, что и как он расскажет. Казалось, что жизнь его всегда идет на пределе, не знаящем усталости и упадка, у некоего критического радиуса, который, впрочем, очень точно выверен.

Он умел дружить и умел любить. Его речь не всегда обжигала, как крапива, или жалила, как оса. Вдруг теплые лирические волны подымались из его души, затопляли его

голос, в глазах его, смотревших на вас сквозь стекла очков, улетучивалась даже и тень насмешки, тик прекращался, или вы просто переставали замечать его, губы выпячивались несколько даже наивно, по-ребячьи. Тогда казалось, что главное в нем — лиризм, что и под колючими речами его всегда подспудно таился лирик, только искавший случая, чтобы высказаться. Но если лиризм наткнулся на равнодушные или недружелюбие, тем более — на враждебность, то на его место тотчас же выступала умная и цепкая ирония. В нем органически сочетались пафос и сарказм, нежность и язвительность, горячность и деловитость. И все шло в одной многоцветной живой волне, все подчинено было одной идее, всегда ищущей выражения в конкретном действии. Чувствами своими он владел властно. Человеком он был сильным, решительным. Резкостей не избегал.

Беглые и краткие характеристики его, которые он попутно рассыпал в беседах и письмах, то полные юмора, то иронические, били обычно прямо в цель. В некоторых случаях они все же казались мне неоправданными, несправедливыми. Вот мы сидим в Летнем саду, и он с большим лирическим напором передает мне впечатления о последней своей поездке. Снимает очки, вытирает, снова надевает. Мимо проходит литератор, останавливается, здоровается. Я знакомлю его с Павленко. Литератор сказал нечто лестное о «Пустыне» или о какой-то другой вещи Павленко и, постояв, пошел дальше. И вдруг Павленко подмигивает мне:

— Приспособленец.

Почему? За что? За чрезмерно ласковую улыбку и вполне нормальную похвалу книге? За излишнюю почтительность чуть дрогнувших при фамилии «Павленко» плеч? Но ведь это же наверняка просто вежливость, воспитанность. Да и если даже повлияла слегка на комплимент фамилия видного

«центрального товарища», то не из этого одного состоит человек. Не слишком ли злой язык у моего нового приятеля? И начинался спор, в котором я горячился, а он — нет.

В нем, возможно, сказывался в таких случаях художник. Он, бывало, вдруг выхватывал черту, проявившуюся на миг, и тут же преувеличивал, строил на ней характер, всегда в таких случаях гротесковый, примеривал этот характер к человеку, а потом, поиграв, повертев, как игрушку, отбрасывал, не настаивая на своей правоте, если не был в ней уверен. Меня он, я думаю, нарочно иногда дразнил своими быстрыми и колкими суждениями о людях, так сказать, «эпатировал», а затем с любопытством наблюдал, как я реагирую. Насмешливости было в нем хоть отбавляй.

Должен добавить, что не помню случая, чтобы острое словцо привело его к несправедливому поступку. Этого не было. Павленко не грешил «загибами» и «перегибами». А от острого словца не отказывался.

Надо сказать, что Павленко очень любил посмеяться и над собой. И даже не просто посмеяться, а поиздеваться. В годы, когда он еще был мало известен читателям, привелось ему как-то выступать на большом комсомольском собрании. Блестящий собеседник в «камерной» обстановке, он в ту пору очень мучился, когда приходилось публично ораторствовать перед большой аудиторией. Да и мало кто из хороших писателей владеет ораторским искусством. Павленко было предоставлено слово после А. Н. Толстого, и он рассказывал мне потом:

— Толстому легко, он — Толстой. И председатель подал его как следует. А я — что я такое? «Кто?» — «Как фамилия?» Я путаюсь, ухватился за трибуну обеими руками, утону..

Он растопырил руки, изображая себя, и веко его дергалось сильнее, чем всегда.

Известность его как писателя росла быстро, и впоследствии любая аудитория встречала его как хорошего знакомого.

Книжка «Разговор пяти или шести» не понадобилась, потому что получилось главное — широкая дискуссия в Ленинграде и в Москве, та самая, на которой настаивал Павленко. Состоялась она в том же тридцать первом году.

Участники дискуссии стремились осмыслить роль и значение советской литературы как литературы революционной, выдвинуть произведения, в которых, по их мнению, нашла свое наиболее сильное и яркое воплощение правда революционных событий, преобразивших жизнь и людей. Критика ошибочных взглядов, протесты против «загибов», столкновения, подчас резкие, в оценке отдельных произведений — все это придавало дискуссии бурный характер. Много говорилось о том, как правдивей, красочней передать в художественных произведениях дела и дни современников, строителей социализма. Не все еще в событиях того времени было понято нами как следует. Но ясней стали наши изъяны, и, очевидно, в этом смысле Павленко, подводя итоги дискуссии, в письме ко мне назвал ее «отвратительно интересной». Характеризуя ряд выступлений на дискуссии в Москве, он кончает жесточайшей самокритикой: «Остальные пороли чушь. Я, думаю, тоже. Я волновался, плохо говорил, был зол и говорил глупо. У меня есть внутреннее оправдание, что я хотел говорить хорошо, но это, конечно, не в счет».

Сгоряча он вновь помянул о книжке «Разговор пяти или шести»: «Нужен творческий манифест. Нужен вызов. Это очень страшно, конечно. Уже и сейчас на нас вешают всех собак, многие не подадут при встрече руки, целый ряд дружб

на ущербе, но — в конечном счете — это все такая мелкая чепуха по сравнению с тем, что обязательно, ценою невозможной энергии надо сделать».

Он несколько утрированно, в своем «павленковском» стиле, описывал обстановку в писательской среде тех лет, но, конечно, крутило нас сильно. А упоминание о книжке было чисто риторическим. Писательские выступления в Москве и в Ленинграде печатались в ряде газет и журналов, а это значило больше, чем отдельная брошюрка пяти или шести.

В тот период характер Павленко как организатора-большевика впервые проявился в литературной сфере, и если кто не знал, что в гражданскую войну он был комиссаром, то теперь мог легко догадаться об этом. Он и в литературной среде очень быстро стал одним из ведущих писателей, организатором, общественником. А так как заседали мы тогда чересчур часто, то он не стеснялся именовать себя за это «Правленко». При этом он много писал и много путешествовал. Взяв правильный курс, он уже не сворачивал с него и тянул за собой других. Он был, казалось, сразу везде, и не было ни одного хоть сколько-нибудь серьезного литературного предприятия, в котором он не принимал бы того или иного участия. Да, покой был ему противопоказан. Он был подлинным сыном своего времени.

## 2

Особняк на Малой Никитской в Москве был широко известен. Здесь жил и работал Алексей Максимович Горький. Этот особняк в тридцатые годы стал центральным литературным штабом, средоточием дел и судеб наших. И мы прежде всего устремились сюда, когда апрельским постановлением ЦК «О перестройке литературно-художественных орга-

низаций» была ликвидирована в 1932 году РАПП. Предстояло организовать единый Союз писателей.

Кабинет Горького был битком набит писателями — молодыми и старыми. Мы разместились где попало и как попало. На подоконнике, возле стола, за которым сидел Алексей Максимович, виднелась фигура Павленко. Намечался состав оргкомитета, и Горький неумоимо записывал фамилии, которые выкликались со всех сторон. Он прятал улыбку в усах, и его карандаш работал без усталости. Каждый старался внести свое предложение:

— Сельвинский! Безыменский! Светлов!..

Похоже было, что идет какая-то большая переключка, проверка и подсчет сил перед очередным стремительным маршем вперед. Жажущие и алчущие участвовать в этом необычном вече толпились в дверях, стараясь протиснуться в кабинет, пристраиваясь где только можно, хоть на полу. Чувствовалось, что и остальные комнаты тоже полны народа. Все были очень возбуждены.

Павленко был уже несколько лет связан с Горьким по ряду дел, и я не раз имел случай видеть, как его ценил Алексей Максимович. Сейчас Павленко с любопытством оглядывал со своего наблюдательного пункта необычайное собрание прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, теснившихся вокруг Горького. То и дело отдельные голоса сливались в общий шум, и тогда раздавались мольбы:

— Товарищи! Тише! Что вы!..

Павленко, при всей любви к таким массовым зрелищам, был очень сосредоточен и серьезен. Кто-то крикнул ему:

— Петр! А ведь здорово? Не мы — в РАПП, а РАПП — к нам!

И вдруг Павленко негромко и коротко огрызнулся (именно огрызнулся — впервые я видел его таким):

— Большая ответственность. Неизмеримо больше, чем прежде.

Наконец замолкли даже самые азартные из присутствующих. Даже им показался исчерпанным предварительный список кандидатов в оргкомитет будущего Союза. Алексей Максимович отложил карандаш, взял исписанный им лист бумаги, прочел все названные писательским вече фамилии, поднял голову и оглядел нас. Улыбка выползла из-под его усов и широко озарила все лицо. Оказалось, что мы предложили в оргкомитет чуть ли не сотню писателей.

В результате дальнейших собраний, обсуждений и правок оргкомитет был учрежден. Конечно, Павленко вошел в него, а так как я был тоже введен, то поездки из Ленинграда в Москву участились. Мы вместе бывали и на Малой Никитской и на даче Горького в Горках, где всегда собиралось самое разнообразное общество. Здесь колхозница из Башкирии беседовала с академиком, ленинградский кузнец спорил с наркомом, китайка разговаривала с художником на смеси из нескольких языков. И Павленко был здесь, конечно, как рыба в воде.

Павленко обладал той внутренней культурой, которая сказывалась во всем. Тем, что называется культурой поведения, он был наделен в большой степени. Он был очень гибок в обращении, и когда хотел, то легко очаровывал людей — каждого по-своему. Одевался он, можно сказать, элегантно, изящно. Любил и ценил красивые, хорошие изделия самого разного рода — казалось, что он прямо может быть экспертом в любой области. Да, кажется, он одно время, в период своей заграничной деятельности, и работал экспертом. У него был широкий, очень развитый художественный вкус. В обществе, которое собиралось у Горького, он держался свободно, скромно, весело.

Дела иногда задерживали нас на Малой Никитской или в Горках. Да уж и очень, признаться, было там интересно — как на вышке, где сталкиваются вихри со всех концов земли. Однажды мы возвращались с дачи Горького в Москву.

— Замечательный человечиче, — говорил о Горьком ехавший с нами инженер, садясь в газик (роскошь тех лет). — Ты заметь, как...

Он вдруг замолк. Опустившись на сиденье, он мгновенно уснул. Машина тронулась. Мы молчали. На полдороге с головы спящего инженера сдуло кепку. Он открыл глаза и продолжил оборванную внезапным сном фразу:

— ...он умеет слушать. А отвечает так, как и не ждешь.

Павленко отозвался:

— Да, замечательный человек. Ты прав.

Во всем облике этого инженера было нечто от напряжения и накала тех лет. Чувствовался человек и работник нового типа, весь в темпах пятилеток, внутренне собранный и дисциплинированный. У себя на стройке он, конечно, привык продолжать работу после краткого отдыха без лишних проволочек, без зевков и невнятных междометий, с точностью, с какой сейчас продолжил прерванную кратким сном незаконченную фразу. С такими людьми Павленко сходил на «ты» с первой же встречи. Наш спутник начал фразу, заснул, а проснувшись, как ни в чем не бывало закончил ее, и пусть навыки большой работы проявились в нем сейчас в несколько курьезной форме — все равно они хороши. А вот окажись у этого инженера заспанная физиономия, очумелый вид и тревога за улетевшую кепку — и павленковский язычок отхлестал бы его без пощады.

Павленко любил работу и умеющих работать людей. Как-то он сказал, что литература — дело веселое, да и вообще работать весело. И в нем самом веселости было сколько

угодно. Он и самое пустяковое дело освежал иногда чем-нибудь неожиданным и необычным, пусть хоть острым словом. Летом тридцать второго года я отправлялся в заграничную командировку, в Германию.

— Что тебе привезти?

— Пусть Фега придет фиги.

Имя переводчицы его вещей на немецкий язык было Фега, и оно навело его, очевидно, на фиги. И он принялся упрямо настаивать на фигах. Ему явно нравилось такое несоответствие: Берлин — и почему-то фиги. Не какой-нибудь там галстук, а фиги. «Добропорядочному» шаблону он предпочитал хотя бы и курьез.

Веселости в нем было много, но легкомыслия не замечалось. Внутренняя серьезность не покидала его, казалось, и в шутке, словно непрестанно работал в душе его некий контрольный аппарат, допускающий одно, запрещающий другое. Таким он запомнился мне в тот период.

Он читал уйму книг, постоянно учился, особенно, помнится, увлекался историей. Книги по истории обычно рассыпаны были на столе и на диване, и чуть ли не в каждой — закладки. «Чувство истории», без которого трудновато писателю, ощущалось во всем, что он говорил и делал. И во всем проявлялись острота, целеустремленность.

Он родился в Петербурге, учился в Тбилиси, а затем — где он не бывал! Иного человека назовешь южанином, другого — северянином, а Павленко был и северный, и южный, и восточный, и западный, он был как у себя дома и в азиатских песках, и на берегах Невы, и на дальневосточной заставе, и в крымском колхозе, везде, где люди, товарищи по общему делу. А Москва была центром его деятельности.

Не раз я слышал, как кто-нибудь, поболтав с ним, восклицал потом:

— Какой блестящий человек!

Да, Павленко был яркий, многоцветный человек, но его многоцветность была всегда подчинена одной цели. Волей он обладал железной.

В 1934 году на первом писательском съезде был организован единый Союз советских писателей, в котором Павленко занял одно из ведущих мест. Его организационная работа и в период подготовки и потом проходила без шума, без длинных речей и частых выступлений, но те, кто работал с ним, знали, сколько труда он вкладывал в исполнение всех своих обязанностей. Без него невозможно было обойтись и в шумные, веселые, торжественные дни съезда.

После съезда меня с Павленко еще больше сблизила общая дружба с пограничниками. В Ленинграде он останавливался у меня, в Москве я жил у него. Переехав на новую квартиру, он писал мне в феврале 1936 года: «Теперь, когда ты приедешь в Москву, мы устроим тебя культурнее и свободнее и всласть посудачим, никому не мешая, о всех делах профессионально литературных. Диван называется «Слонтих» — по твоей и Колиной (Тихонова) фамилии...»

«Мы» — это он и жена его Ирина, тихая, заботливая, умная, верная его подруга, очень простая и чуть насмешливая. К лету они ждали ребенка. 20 мая пришло письмо счастливого отца: «Итак, рожден мужчина 50 сантим. ростом, 8½ ф. весом, безбровый блондин...» И вдруг вскоре телеграмма: «Сегодня Ирина умерла приезжать не надо Павленко».

Немедленно я ринулся в Москву. С вокзала — к Павленко. Он вымолвил:

— Так и знал, что приедешь.

Сел на диван и сразу заговорил. Снимал очки, протирал, вновь надевал и говорил, говорил.

— Она сказала перед смертью, чтоб я сшил новый костюм, что отрез лежит...

Резким движением он не снял, а сдернул с носа очки, и лицо его залилось слезами. Впервые я видел плачущего Павленко. Он плакал, закинув голову. Потом поднялся.

— Пойдем!

И мы пошли. Мы ходили по улицам, по бульварам, присаживались на скамейки, потом снова шли. Он то молчал, то вдруг начинал рассказывать — каждый раз все подробней, с новыми деталями, о том, что случилось, как случилось...

Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что мы ходили по Москве несколько дней подряд. Но, конечно, это было не так. Павленко выговаривался. Он избывал свое горе в движении.

Сильный, очень активный человек, он не рухнул от горя, столь тяжело потрясшего его. Но он как будто стал старше и трезвей.

С большой радостью за него я прочел через два года полученную от него открытку: «Дорогой Миша! Пишу тебе из Орла. Вчера ночевал на Куликовом поле. Кругом Россия. Сегодня днем пил сидро на Бежином лугу... Не один. С женой — с Н. К. Трениной, на которой поженился 22 августа по новому стилю...» В этом «по новому стилю» я услышал воскресший павленковский юмор.

Из всех героев книг Павленко ближе всех к нему, конечно, Воропаев, активный жизнелюбец, ненавистник покоя, организатор и вдохновитель, которого ничто не может сломить, разве только смерть.

Павленко жил большими масштабами эпохи.

В одном из писем еще того времени, когда он работал над романом «На Востоке», задолго до «Счастья» и Воропа-

ева, он, недовольный измелечением тем, писал мне о «тематическом возрождении», которого «все мы ждем». «Надо писать больше, острые вещи. По-видимому, масштаб и острота — качества. Язык, метафоры, форма — прикладное искусство: хорошо, когда они есть, но отлично, когда их не замечаешь. Тема — вот главное. Черт возьми, я очень хорошо вижу, как надо писать прекрасные произведения. Форма должна раздвигаться, как театральные занавесы, написанные рукой мастера, и оставлять перед читателем одно голое действие. Акт закончился — занавес сдвигается. Форма, мне кажется, открывает и приостанавливает содержание, как занавес. Она граница содержания. Но театр не в занавесе, он в том действии, что за занавесом...» И тут же он смеется над собой: «Ну ладно. Бред вроде моего надо (даже в письмах) дозировать очень умело, во всяком случае, очень осторожно, чтобы письмо осталось на грани нормального».

Письмо это показывает, как бурлила в нем творческая мысль, как он рвался к большим темам и к такой форме, которая помогла бы, а не загромождала, не оказывалась бы самодовлеющей или отвлекающей от содержания.

Павленко шел по глубокому руслу жизни, по главной ее магистрали. Полковым комиссаром, писателем и бойцом он прошел Великую Отечественную войну, деятельно работал в послевоенные годы в литературе, в широкой общественности. И умер он на ходу, в работе, на полфразе.

1961



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Вместо предисловия. . . . .	7
Начальные годы. М. Горький. . . . .	24
Старшие и младшие. . . . .	53
Александр Грин — реальный и фантастический. . . . .	87
«Здесь живет и работает Ольга Форш». . . . .	106
«В Сибири пальмы не растут...». Всеволод Иванов. . . . .	119
Борис Пильняк. . . . .	127
Это было в Доме искусств. Николай Никитин. . . . .	136
Михаил Зощенко . . . . .	145
Вместе и рядом. Евгений Шварц. . . . .	171
Камарада Давид Выгодский. . . . .	194
Творческая командировка. 1932 год. Июль — август. . . . .	199
Писатель-пограничник. Лев Канторович. . . . .	225
На буйном ветру. Петр Павленко. . . . .	232

**СЛОНИМСКИЙ  
МИХАИЛ\_ЛЕОНИДОВИЧ  
КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ**

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966 г.,  
248 стр. Тем. план вып. 1966 г. № 75.



Редактор И. С. Кузьмичев  
Художник М. Е. Новиков  
Худож. редактор А. Ф. Третьякова  
Техн. редактор З. Г. Игнатова  
Корректор П. М. Вихман



---

Сдано в набор 20/IX 1965 г. Подписано в печать 10/1 1966 г. М 23004. Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>,  
кама мелованная. Печ. л. 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (10,85). Уч.-изд.  
л. 10,46. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1560.  
Цена 50 коп.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский проспект, 28.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3

широко известных сборников рассказов «Шестой стрелковый» и «Пограничники», «Повести о Левинэ», романов «Лавровы», «Инженеры», «Семь лет спустя». М. Слонимский на протяжении долгих лет активно участвовал в литературной жизни страны и хорошо знал многих выдающихся писателей. Книга его воспоминаний — это рассказ о встречах, писательских судьбах, о товарищах по литературному труду.

---

**50 коп.**

П И С А Т Е Л Ь • 1 9 6 6

И  
К  
С  
Т  
Е  
Т  
С  
К  
И

